

СМЕННАЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ

СТЬ



Жозе Кардозо Пирес

Гость Иова



Цена 36 коп.

Пер. 17.



В серии „Современная
зарубежная повесть“

Вышли в свет:

А. Бундестам. Про-
пасть (Финляндия)

У. Бехер. В начале
пятого (ФРГ)

Д. Брунамонтини. Не-
бо над трибунами (Ита-
лия)

Р. Прайс. Долгая и
счастливая жизнь (США)

Готовятся к печати:

В. Кубацкий. Груст-
ная Венеция (Польша)

Г. Маркес. Палая
листва. Полковнику никто
не пишет (Колумбия)

П. Себерг. Пастыри
(Дания)

José Cardoso Pires
O hóspede de Job



Lisboa, 1965

Жозе Кардозо Пирес
Гость Иова

Перевод с португальского



Издательство «Прогресс»
Москва 1971

Перевод *Е. Рязовой*

Предисловие *В. Гутермана*

Редактор *Л. Борисевич*

КТО ВОЗНАГРАДИТ ИОВА?

Вскоре после второй мировой войны в португальской литературе на фоне расслабленных и манерных декадентских голосов зазвучал свежий, чистый голос молодого писателя Жозе Кардозо Пиреса. Ему был двадцать один год, когда в 1946 году вышло в свет его первое произведение — сборник «Странники и другие рассказы». Книга была тепло встречена читателями и получила благоприятные отзывы в литературных кругах.

Уже раннее творчество Жозе Кардозо Пиреса давало почувствовать, что в Португалии появился талантливый художник слова, готовый и способный развивать демократическую, гуманистическую линию в национальной литературе. При этом Пирес выступил не как простой продолжатель унаследованной традиции, не как эпигон своих литературных предшественников, а как писатель с собственной оригинальной манерой изображения.

Последующие произведения Пиреса, в частности «Любовные истории» (1952) и «Плененный ангел» (1958), показали, что успех молодого автора был не случаен. С каждой новой книгой мастерство писателя становится все более зрелым. Взгляд художника охватывает все более широкий круг жизненных явлений и глубже проникает в их суть. «Катехизис верховой езды» (1960), сборник психологических новелл «Азартные игры» (1963), а затем «Гость Иова» (1963), издан-

ные в ряде европейских стран, США и Бразилии, приносят Пиресу международную известность. В 1968 году он публикует роман «Дельфин», показывающий трагическую обреченность пассивного недовольства современной действительностью.

Однако наиболее значительной работой Жозе Кардозо Пиреса остается повесть «Гость Иова». В 1964 году она получила литературную премию Кампело Бранко¹, ежегодно присуждаемую за лучшее произведение португальской литературы. Повесть была признана одной из лучших зарубежных книг года в США и Италии и издана во Франции, Англии, Венгрии, Румынии. Многие критики указывали, что «Гость Иова» знаменовал собой новый этап в творчестве Пиреса — обращение к остро социальным проблемам современной Португалии. Одновременно отмечались значительные художественные достоинства этого произведения.

Жозе Кардозо Пирес формировался как писатель в послевоенные годы, когда даже в салазаровской Португалии подул свежий ветер народно-демократического освободительного движения и в глухой ночи военно-полицейской диктатуры стали собираться тучи — провозвестники будущей очистительной грозы. Это не могло не оставить своего отпечатка на творчестве такого художника, как Пирес. Его произведения не только проникнуты гневом против социальной несправедливости, скорбью и болью за обездоленных людей, в них есть и ощущение занимающейся зари освобождения, в них угадывается вера в силы народа и его лучшее будущее.

Библейский многострадальный Иов упоминается в повести однажды: автор сравнивает с ним одного из своих персонажей, хотя сравнение это относится и к народу Португалии, который и поныне, пользуясь выражением из книги Иова, стонет от множества притеснителей и от руки сильных вопиет. Он мог бы вместе

¹ К. К. Бранко (1825—1890) — португальский писатель-реалист, выступавший с произведениями, рисующими жизнь городских низов.

с библейским страдальцем воскликнуть: «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады...» Но на этом сходство кончается. Португальский народ, хотя он уже сорок с лишним лет живет под игом военно-полицейской диктатуры, отнюдь не примирился со своею горькой судьбой, не покорился. И Пирес со всей определенностью показывает это в своей повести. В подтексте, которым так богата эта книга, без особого труда угадывается полемика автора с библейским мифом об Иове и церковной проповедью смирения и покорности. С другой стороны, миф этот помог писателю найти эмоциональный ключ для создания полного сумрачной поэзии и экспрессии произведения.

Сухая, изрытая трещинами бесплодная земля, нещадно палимая лучами горячего солнца; бредущие по дорогам толпы голодных батраков, отчаявшихся получить работу на помещичьих полях; селение Симадас — жалкие лачуги на голых косогорах, где вокруг ни деревца, где все тускло, бесцветно и царит мертвая тишина и лишь трухлявый колодезный сруб, небольшая площадь да убогая таверна напоминают о том, что это селение; конные жандармы, патрулирующие в деревнях для острастки непокорных и рыскающие в погоне за «браконьерами» — безработными батраками, пытающимися подстрелить какую-нибудь дичь, чтобы не умереть с голоду; наконец, военный городок Серкал Ново, расположенный на краю равнины: десяток домов вдоль шоссе, церквушка, притулившаяся у казармы, труба горниста и протяжный, щемящий душу гудок проходящего поезда, нарушающий тишину унылой, до отупения однообразной жизни обитателей Поселка и тревожащий сердца молодых новобранцев, оторванных от семьи и родных мест.

Таким предстает перед читателем показанный в повести край, где размеры латифундий достигают от 200 до 20 тысяч гектаров, а большая часть крестьян вообще лишена земли, где народ бедствует и голодает, а сытые жандармы на сытых конях насакивают на бастующих батраков, не желающих даром работать на помещиков, и где сыновей крестьян денно и ночно муштруют в казармах, чтобы буржуазия и помещики имели в своем распоряжении армию, нужную им для поддержания

своего господства в метрополии и колониях. Обстановка передана с такой удивительной точностью и мастерством, что даже в сознании читателя, знакомого с Португалией по книгам или видевшего другую Португалию — с роскошными особняками и экзотическими виллами, великолепными соборами, вечнозелеными пробковыми дубами, заливыми лугами, на которых мирно пасутся стада тучных коров, золотыми пляжами с тончайшим песком, — скорее всего запечатлится именно тот образ страны, который воссоздает Жозе Кардозо Пирес.

И хотя центральные персонажи этой повести крестьяне, вряд ли можно рассматривать «Гость Иова» как произведение на крестьянскую тему. Скорее это своеобразное сказание о народной судьбе, о жизни современного португальского общества вообще. Избранная писателем форма сказания-притчи позволила ему создать образы широкого социального обобщения и показать характеры, которые при всей своей конкретности и индивидуальности общенациональны.

Три центральных персонажа повести — дядюшка Анибал, Жоан Портела и Флорипес, — несомненно, образы эпические, в какой-то мере напоминающие героев фольклора. Дядюшка Анибал — старый крестьянин, у которого нет ни кола ни двора и единственный сын-кормилец забран в армию. Все, что у него осталось, — это охотничье ружье, с помощью которого ему иногда удается подстрелить мелкую дичь и таким образом как-то перебиться. Правда, есть у него еще исторические хроники и другие старые книжки, вроде «Истинной трагедии графов де Тавора, умерших жестокой смертью, уготованной им королем». Наделенный богатой памятью и воображением, мечтательный, хорошо знакомый с историей своей родины, старый крестьянин постоянно перечитывает эти книги. Простодушный дядюшка Анибал рассчитывает получить какое-нибудь пособие за сына, служащего в армии. Надежда эта оказывается призрачной. Тем не менее Анибал, не задумываясь, расстается со своей единственной ценностью — охотничьим ружьем, чтобы помочь попавшему в беду молодому Жоану Портеле. Несмотря на свою некоторую легковёрность и даже чудаковатость, ста-

рый Анибал способен разобраться в сущности происходящих событий. «Национальная гвардия ведет с нами настоящую войну», — говорит он односельчанам, когда в Симадасе появляются жандармы.

Молодой приятель Анибала, безработный батрак Жоан Портела упорно ищет работу и мечтает добраться до Лиссабона, рассчитывая найти там какое-нибудь занятие. Вместе с Анибалом он направляется в Серкал Ново и здесь, на полигоне, попадает под обстрел и получает тяжелое ранение. Надежды Портелы рушатся, однако он мужественно и стойко переносит новую беду. Именно его сравнивает автор с Иовом. Но это не тот Иов, который проклинает день, когда он родился, и ночь, когда был зачат, а потом, когда перед ним является бог, признает мудрость и справедливость творца. Судя по всему, Портела не собирается примириться с судьбой и признать справедливость тех, по чьей вине он несчастен.

«Главное не утратить мужества, не пасть духом», — говорит дядюшка Анибал потерявшему ногу Портеле. Мужеством, стойкостью, силой духа в полной мере наделена свободолюбивая и гордая крестьянская девушка Флорипес. Полицейские хватают ее и держат в тюрьме заложницей, добиваясь, чтобы она выдала зачинщиков забастовки батраков. Флорипес угрожают суровой расправой, но жандармам не удается сломить ее волю.

Перед читателем повести проходит целая галерея образов, различных по значению и масштабу, но все это живые люди, реальные характеры. Четкость рисунка, умелый отбор основных деталей, строгая художественная логика делают образы Пиреса выразительными независимо от того, пользуется ли он густыми, интенсивными красками или прибегает к полутонам, к игре света и тени. Наверняка запомнятся и старая крестьянка Казимира, отважно защищающая свою внучку Флорипес, и тетушка Либерата, и капрал Три-Шестнадцать, одна из наиболее колоритных фигур казарм Серкал Ново, и двое молодых новобранцев, которых он учит уму-разуму в таверне, и жандарм, проявляющий сочувствие к Флорипес, и, наконец, безымянный, безмолвный, твердый как камень крестьянин, над кото-

рым измывается фатоватый жандарм из Лиссабона, заставляя его стоять с рукой, привязанной к потолочной балке.

«Внизу, пригвожденный к покрытой царапинами садовой ограде,— говорится в повести,— Иов созерцал пустыми глазами, как на землю спускаются сумерки и прыгают вокруг него воробьи». А в это время на верхнем этаже офицерской гостиницы, выходявшей окнами в сад, «американский гость» капитан Галлахер отстукивал на машинке секретное донесение о произведенных в Серкал Ново испытаниях американских снарядов. Это тот самый американский капитан с рыжей козлиной бородкой, из-за преступной небрежности которого Жоан Портела стал калекой. Автор не говорит нам, прибыл ли этот «гость» в Португалию в качестве уполномоченного НАТО или как представитель Пентагона, снабжающего салазаровский режим оружием и боеприпасами. Да это и не важно. Капитан Козлиня Бородка, как прозвали Галлахера солдаты в Серкал Ново, приезжает сюда испытывать американское оружие и ведет себя здесь не как гость, а как «конкистадор из Нового Света».

Однако португальцы хорошо понимают, чем чревато присутствие «американских гостей» на их родной земле. А потому на стенах домов, парапетах, асфальте дорог часто появляются надписи: «Янки, убирайтесь домой!» С живым юмором и сарказмом написана сцена бегства Галлахера, когда он обнаружил напротив отеля, где остановился, рожу с козлиной бородой и рогами и рядом аршинную надпись «US go home».

В повести «Гость Иова» нет последовательного описания жизни одного или нескольких главных героев. Нет в ней и столкновений, раскрывающих сложный и многогранный мир человеческих отношений. Нет фабулы в строгом смысле этого слова. Композиционно повесть представляет собой серию отдельных картин, зарисовок, которые сменяются, словно кадры кинофильма, порой непосредственно не связанные между собой. Но объединенные общей идеей, ясно выраженным лейтмотивом, эти картины как бы сливаются в стройную

симфонию, дающую яркое представление о жизни страны, о тяжелых испытаниях народа и его борьбе, о его разочарованиях и надеждах. В этой симфонии звучат мотивы безысходной тоски, горьких раздумий, но слышатся и голоса, полные решимости и отваги, веры в лучшее будущее. Это скорбная и в то же время оптимистическая симфония.

В соответствии с художественной задачей, которую автор повести поставил перед собой, он не занимается тщательным психологическим анализом. Поведение его героев, их поступки, переживания социально обусловлены с такой степенью определенности, что не нуждаются в особых психологических мотивировках. Вместе с тем в повести немало тонких наблюдений, которые делают изображаемые характеры по-настоящему живыми и убедительными.

Стиль Пиреса удивительно точен, лаконичен, емко и упруг, напоминая порой до предела сжатую пружину. Ему чужды вычурность и изощренность, присущие декадентским течениям, почти безраздельно господствовавшим в португальской литературе на протяжении долгих десятилетий после буржуазной революции 1910 года. Он реалистичен, но не приземлен; эмоционален, но без сентиментальности; ярок, однако без импрессионистских изысков; к тому же абсолютно лишен ходульной патетики.

Все это в сочетании с особым ритмом повествования делает произведение Пиреса похожим на поэму в прозе и сообщает повести драматическую напряженность и внутреннюю динамичность.

«Пара внимательных глаз, две капельки жизни, перемещающиеся в узкой расселине ущелья с медлительностью сказочного чудовища...» Подобные живые, как бы физически осязаемые образы составляют характерную особенность творческого почерка Ж. К. Пиреса.

Писателю не свойственны скрупулезные описания, отягощенные бытовыми и иными подробностями. Он рисует жизнь крупными мазками и отбирает детали, которые красноречиво говорят о целом. «Поля, начисто выметенные ветром голода...» — замечает в авторском тексте Пирес, и перед вами сразу возникает картина

повсеместного запустения и ужасающей нищеты. Будь Ж. К. Пирес не писателем, а художником, о нем можно было бы сказать, что он в равной мере искусный портретист и пейзажист. Как бы несколькими уверенными взмахами кисти он создает портрет персонажа, мгновенно врезающийся в память. Живые бусинки глаз дядюшки Анибала, настороженно глядящие из-под темных полей шляпы, и жгучие, почти без ресниц глаза молодого Жоана Портелы с двумя чахлыми кустиками бровей, лысого, с беретом поверх платка на голове... Взор этих глаз словно проникает в душу, будя в ней боль за печальную судьбу этих людей. И уж конечно, не забудется крестьянин-бунтовщик, прикованный наручниками к холеному столичному жандарму. Низкорослый, иссушенный солнцем, с челкой и короткими усиками, в жилете и рубаше из полосатого коленкора — один из тех, кто бродит по стране в поисках работы. Пирес любит и пейзаж, но он никогда не является для писателя самоцелью, чаще всего пейзаж дается глазами того или иного персонажа и служит его характеристике. «Гостиница еще спит, покачиваются на волнах рыбацкие суденышки с зажженными фонарями, застигнутые в бухте первыми лучами солнца. Море колышется лениво, безмятежно, и воин-завоеватель вспоминает в чужом краю о других берегах, о других путешествиях».

Повесть «Гость Иова» — это прежде всего рассказ о судьбе наиболее обездоленной части современного португальского общества, безземельных крестьянхатраках. При этом показан не только их конфликт с помещиками-работодателями, но и столкновение с государственной машиной диктаторского режима, лицевого жандармерией. Жандармы пешие, жандармы конные, жандармы, мчащиеся куда-то на автомобилях и мотоциклах по дорогам страны и нарушающие идиллическую картину золотого взморья с вечнозелеными дубами, бродячими цыганами верхом на косматых осликах и караванами иностранных туристов. Ничто, пожалуй, не передает с такой осязательностью гнетущую атмосферу в стране, над которой постоянно занесен железный кулак фашистской диктатуры, как это обилие жандармов. Автор показывает, хотя, может

быть, и недостаточно отчетливо, что экономическая борьба сельскохозяйственного пролетариата все больше приобретает политическую окраску.

Настанет час, когда многострадальный португальский Иов будет наконец вознагражден за свои тяжкие испытания, но эта награда придет не свыше, не извне. Ее добудет сам народ упорной борьбой, которая неизбежно завершится победой.

В. Гутерман

I

Плоская как доска, растрескавшаяся от солнца степь, изборозженная пересохшими канавками; прорезанные бесконечной асфальтовой дорогой и ленивыми клубами дыма суглинистые поля — таким предстает взору военный городок Серкал Ново, расположенный на краю равнины: труба горниста, церквушка, притулившаяся у казармы, десяток домов вдоль шоссе, а главное — гудок паровоза и тоненькая струйка дыма над равниной: «Ту-тууууууу...»

— Поезд из Эворы, — говорят в казармах военные.

— Поезд из Эворы, — вторят им в тюрьме, в лазарете и в солдатском общежитии. Поезд из Эворы, увозящий отпускников и тех, кого направляют в дисциплинарный батальон.

Чьи-то голоса внезапно нарушают тишину трактира:

Едет оттуда поезд, едет,
Едет себе и пошвыстывает...

Навалившись всей тяжестью на стойку, капрал Три-Шестнадцать стучит по железу кулаком:

— Заткнитесь, ослы!

Крик его мгновенно оборвал пение, точно заморозил звуки. Оба рекрута, певшие в кабачке, вздрогнули от неожиданности, горло у них перехватило. Они сидят на длинной деревянной лавке, тесно прижавшись и обняв друг друга за плечи, напоминая то ли друзей

подростков, то ли парочку влюбленных на скамейке городского сада в воскресный день.

Новоиспеченные солдаты оба как по команде облизывают губы — точь-в-точь как животные, ожидающие нападения врага, который вот-вот набросится на них и растерзает; немые и настороженные, они не отрывают глаз от капрала, а он тем временем тщетно пытается преодолеть действие вина и подняться на ноги. Покорные неизбежной судьбе, они не шевелятся, не подают признаков жизни. Они просто присутствуют здесь, и настойчивые усилия капрала встать, его беспорядочные жесты, резкие толчки и покачивания вызывают в их памяти маневры железнодорожных составов, снующих на подходе к станции между платформами, битком набитыми любопытными пассажирами и багажом.

Трактирщик также не трогается с места. Ему, разумеется, и в голову не приходит думать о каких-то там путешествиях и о поездах: неколебимый в своем равнодушии, как скала, он всегда остается верен себе, восседая за стойкой и устремив отсутствующий взгляд в пространство, словно между ним и входной дверью никого нет, ровным счетом никого. Даже этого вояки, беснующегося после пьянки, хотя тот и находится в двух шагах, чуть ли не задевает лбом стойку, цепляется за нее руками, стремясь во что бы то ни стало удержать равновесие, — ни дать ни взять огородное пугало перед двумя ошалелыми новобранцами.

— Прекратить!

Чтобы удостовериться, наступит ли вслед за этим приказом тишина, Три-Шестнадцать выпрямился во весь рост, не в силах, однако, выплыть из бурного моря вина, и заткнул уши руками. Но даже так, невзирая на сонное оцепенение, он явственно слышит стук колес:

Ту-у-у-у-у-к! Ту-у-у-у-у-к!

— Прекратить! — Он всхлипывает и опять кричит: — Прекратить! Прекратить безобразие, кому говорю!

Хочет ли он заставить умолкнуть рекрутов, поезд или собственные рыдания, непонятно. Быть может, надеется усмирить всех сразу — целый мир и себя само-

го. Капрал Три-Шестнадцать выжидает. Остальные не смеют и пикнуть.

Ту-у-у-у-у!

— Смотри у меня!..

Ту-у-у-у-у!

Три-Шестнадцать ослеплен вспышкой гнева, кабачок находится во власти его злобы и доносящегося издали гудка паровоза. Капрал весь напрягся, как дикий зверь перед прыжком, он ждет следующей провокации поезда из Эворы. Едва только раздается грозный сигнал, капрал снова стучит кулаком по стойке и обрушивает на солдат новый поток брани:

— Заткните глотку, сукины дети!

Подобное пререкание — своего рода игра между капралом и поездом.

Ту-у-у-у-у-у-у-у-у!

— Разрази меня гром!.. Эй, вы там, заткнитесь же наконец!

— Довольно! — цедит сквозь зубы трактирщик, спектакль ему до смерти надоел.

Капрал Три-Шестнадцать стремительно оборачивается к нему:

— Тебе бы тоже невредно помолчать!

К несчастью, во время исполнения этого акробатического номера ноги вдруг отказываются ему служить. Подошвы кованых сапог скользят по каменным плитам. Выполняя замысловатый пируэт, Три-Шестнадцать пошатнулся, голова у него закружилась, и он лишь чудом не упал на пол. На мгновение застыл на месте, горло сдавило рыдания. Он начал медленно клониться вперед, сползая понемногу все ниже и ниже, пока не повалился на стойку, будто мешок с мукой.

— Прекратить! — пробормотал он в последний раз, погружаясь в глубокий сон.

II

Сидящие на деревянной скамье рекруты слышат, как капрал тихонько хмыкнул.

— Поезд из Эворы, — повторил он и засмеялся: — Ха-ха, поезд из Эворы.

Потом они видят, как он протягивает руку за стаканом вина, поворачивается и ложится прямо на стойку, с вожделением уставясь на вино мутными глазами.

— Поезд из Эворы, поезд из Вила Реал или из преисподней, мне-то какое дело, я одного желаю, чтобы ты не отлынивал от работы.— Он сплонул в сторону.— Да, чтобы ты не отлынивал от работы.

Молчание. Трактирщик и новички одним ухом прислушиваются к его речам, а другим жадно ловят доносящиеся снаружи звуки, ведь в ночи может снова раздаться гудок паровоза.

Но Три-Шестнадцать сжимает в руках стакан и, пристально разглядывая его, бубнит, не скрывая раздражения. Он по-прежнему обращается к поездам, хотя уже другим тоном:

— Тысяча шестьсот чертей! Поезда и опять поезда, они бегут по всем направлениям, а в Алваро в этот час никто обо мне и не вспоминает.

Он адресует жалобы стакану вина, своему теперешнему товарищу. Подносит его к губам с намерением осушить до дна — только так можно окончательно разделаться с проклятым зельем, — но тут же передумывает и с размаху опускает стакан на цинковую стойку. С размаху — потому что никто в этот час не вспоминает о нем в Алваро.

— Ни одна живая душа, боже милостивый!

Размышления об Алваро, видимо, смягчили его гнев или заставили хотя бы на миг забыть о поединке с поездом, со свободой и всем тем, что вызывает в памяти непокорный свисток локомотива, проносащегося по равнине мимо военного поселка. Почерневшие от вина губы начали шевелиться быстрее, теперь с них слетают более осмысленные и четкие слова, произносимые к тому же не столь хриплым голосом.

— Никто обо мне не помнит, но это даже к лучшему.— Капрал придвинул стакан поближе, грустно подмигнул ему: — Вот какие дела, приятель, никто меня не помнит...

Конечно, сцена эта несколько не интересовала трактирщика, занятого своим делом. С него вполне хватало и того, что приходилось высиживать положенный срок да еще обслуживать надоедливых посетителей. Хозяин

кабачка, облаченный во все черное, с траурной лентой на картузе, с потухшей сигаретой в зубах, считал ниже своего достоинства проявлять какое бы то ни было любопытство, явно презирая солдат и других завсегдаев трактира. Он взглянул на часы, висящие у пояса на черном шнурке. Но только ли циферблат видит он перед собою? Весьма сомнительно. Потухшая сигарета все еще торчит у него во рту, капрал Три-Шестнадцать продолжает оправдываться перед стаканом вина, новобранцы дрожат от страха. Вот и все.

— Забыли меня, я не сомневаюсь. Три-Шестнадцать уже ничегошеньки не значит в Алваро. Но это даже к лучшему. Честное слово, к лучшему, вот ведь что получается. Положим, я объявлюсь в родных местах и кто-нибудь узнает меня и скажет: «А ну докладывай, паренёк, чем ты занимался все это время?» Ясное дело, я так только предполагаю, а вдруг кому-то и впрямь взбредет в голову спросить об этом?

Он обращался к самому себе, однако ничего не имел бы против, если бы получил ответ от посторонних, все равно от кого.

— Эй, молокосос, что же ты молчишь, отвечай живее!

— Мне отвечать? — осмелился подать голос один из солдат, но капрал даже не посмотрел на него, так захватили его воспоминания об Алваро и разговор, который он вел словно бы про себя.

— Я как будто слышу голос моей старушки: объясни мне, дорогой сыночек, растолкуй, пожалуйста, что ты делал на военной службе...

Почти без усилия Три-Шестнадцать встает и направляется к деревянной скамье. От него разит винным перегаром. Он идет не спеша, вразвалку и внезапно останавливается перед новобранцами; две бритые головы поднимаются навстречу ему.

— Четырнадцать месяцев быть в отлучке и ни разу не заглянуть домой, боже милостивый! Тут уж никак не обойтись без отчета. Вот ты, голубчик Три-Шестнадцать, и сел в лужу, попробуй-ка выпутайся из затруднения. Ты капрал... Знаешь, мама, я был капралом... Нет-нет, дуралей, это звучит слишком невразумитель-

но. Может, лучше сказать — артиллеристом?.. Знаешь, мама, я служил артиллеристом и выучил назубок все части пушки...

— В самую точку, — произнес один из солдат, поменьше ростом.

— Что в самую точку?

— Да вот это. Достаточно, если вы ответите, что служили артиллеристом.

Три-Шестнадцать с негодованием передернул плечами.

— По-твоему, этого достаточно, чтобы разъяснить положение вещей моей старушке?.. Артиллерист...

— Конечно, всем известно, что такое артиллерист.

— Всем известно? Тогда что же это за птица, артиллерист? И не смей ему подсказывать, пускай этот всезнайка ответит сам.

— Мне кажется, артиллеристом можно назвать любого человека, несущего службу в артиллерии.

— Кому было приказано молчать, дурья башка! Пусть объяснит твой товарищ, хвастунишка, ему и карты в руки.

— Итак, сдается мне, — начал маленький новобранец, — артиллерист — это всякий, кто возится с пушками и мортирами.

— Мортирами? — Три-Шестнадцать, казалось, не верил своим ушам. — Мортиры! Вы только послушайте, как шпарит словечками этот оборкот. Мортиры!

— Ясное дело, мортиры, а то нет? Неужели я неправильно сказал?

— Ты соизволил упомянуть о мортирах. И верно, воображаешь, что здорово отличился?

— Но как же так, сеньор капрал, разве артиллерист не имеет дела с мортирами?

— Почему не имеет? Имеет. Только какое же это объяснение, болван? Откуда может знать штатский, что обозначает подобное название? Он наверняка и не слышал его, понятно?

Оба солдатика, оторопев от такого обилия вопросов, растерянно хлопают глазами.

— Нам еще не выдали инструкции, — извиняющимся тоном пролепетал тот, что поменьше.

Тогда более высокий заметил:

— Я полагаю, нет необходимости в инструкции, чтобы догадаться, что это орудие. Как ни крути, все выходит, что это огнестрельное орудие и его применяют на войне.

— Мортиру?

— Да, мортиру, сеньор капрал.

— Прекрасно. Значит, ты, продувная бестия, утверждаешь, будто мортира — огнестрельное орудие и его применяют на войне? Я не ошибся?

— Нет, сеньор капрал. Мортиру используют во время войны с другими государствами. Мортира — огнестрельное орудие, из него палат по врагу.

— Превосходно! Наконец-то капрала Три-Шестнадцать просветили добрые люди. Теперь остается лишь узнать, для какой такой войны предназначается это огнестрельное орудие и по какому врагу следует открывать из него пальбу? Валяй дальше, ума палата! Ты что замолчал, уж не сдрейфил ли часом?

Разумеется, он обращался к сидящим на лавке солдатам, но поглядывал преимущественно на трактирщика. Три-Шестнадцать испытывал неимоверную гордость оттого, что задал столь каверзный вопрос, и слова его были адресованы скорее человеку за стойкой, чем рекрутам, от него ожидал он сочувствия и одобрения.

— По какому врагу? — Маленький солдат явно колебался. — По какому врагу?.. Ага, сообразил, сеньор капрал... По мулам...

— Ну и отмочил же ты штуку, балда, — ахнул второй новобранец и разразился хохотом, стуча по полу тяжелыми сапогами.

А капрал Три-Шестнадцать лишь криво усмехнулся. От жалости и презрительного сострадания.

III

— По мулам, — ответил малорослый рекрут, и мулы действительно представлялись ему врагами. «По белому мулу — огонь!» — шутили между собой артиллеристы, получив приказ стрелять. «Бедняге мулу опять влетело ни за что ни про что», — обиженно ворчали

старые служаки, когда их несправедливо наказывали перед строем.

Солдат повыше заливался смехом, хватаясь за живот.

— Сукин сын, ай да сукин сын! — Он покачивался из стороны в сторону, и его бурное веселье задевало товарища, который то и дело краснел от смущения до ушей. — Ха-ха-ха, ай да сукин сын!

Маленький солдат терпеливо выслушивал насмешки, прерывавшиеся взрывами хохота, он стыдился своей неудачной фразы. Однако всякому терпению есть предел. Если неопытный новобранец и допустил оплошность, ответив невпопад, нельзя же над ним всю жизнь издеваться; поняв это, рекрут толкнул локтем дружка и проговорил:

— Да, по мулам. А что здесь такого? Говорим же мы: «По белому мулу — огонь».

Час от часу не легче. Первый солдат захохотал еще оглушительнее, скамейка так яростно сотрясалась от его гогота, что, казалось, вот-вот перевернется. Один только Три-Шестнадцать сострадательно улыбался, наблюдая за спектаклем; он покачивал из стороны в сторону свое онемевшее от долгого сидения тело, как будто не имел никакого отношения к происходящему. Было очевидно, что все это не очень-то его забавляет, и он спокойно предоставил солдатикам самим разбираться, что к чему, пускай спорят, пока не выдохнутся или пока до них наконец не дойдет, какие они ничтожества, ничего не смыслящие в тонкостях военной жизни. Ведь «По белому мулу — огонь!» — всего-навсего выражение, бытующее в казарме.

«Просто поговорка, — думает капрал, стоя перед новобранцами. — «По белому мулу — огонь» — такая же поговорка, как и всякая другая, ее любят повторять солдаты, в том числе и артиллеристы. «По белому мулу — огонь» означает навести орудие».

Вслух же он произносит:

— Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел, чтобы стреляли по мулам? Да прекрати ты ржать, весельчак! Я тебя спрашиваю: видел ли ты когда-нибудь, как стреляют из пушки по мулу?

— Как?! — переспросил маленький рекрут.

А его приятель, все еще не переставая хохотать, с трудом выдавил из себя:

— Я, сеньор капрал...

— Заткнись. Я хочу знать, видел ли кто-нибудь из вас, чтобы открывали огонь по мулам?

Тот, что смеялся, отрицательно покачал головой, второй солдат попытался вывернуться:

— Но... ведь так говорят...

— Говорят, олух царя небесного. Это выражение про белого мула называется поговоркой. Я тебе понятно объяснил? Это всего только поговорка, а никакой не враг.

Хозяин в глубине зала громко зевает. Он безразличен к ходу времени и не способен, как известно, ни на малейшее проявление любопытства. Вместо обычных разговоров о налогах, о том, сколько стаканов вина выпито и сколько монет выложено на стойку, солдаты взялись за военные проблемы, их интересует, что значит белый мул и является ли он на самом деле врагом.

— Мулы — это животные и у нас и в любой части света.

— Хотя случается, сеньор капрал, — возражает первый рекрут, — что скотина враждебно относится к человеку. Был у меня в деревне один кореш, звали его Граммофоном...

— Так то у тебя в деревне...

— Опять вы надо мной насмехаетесь. А вот мой земляк может подтвердить, что я говорю чистую правду. Ну как, парень, заливаю я про Граммофона или нет?

— Да перестань ты молоть вздор, эдак мы с тобой каши не сварим. Я тебе про мула, а ты мне про какого-то Граммофона. Мулы. Вот о чем идет речь, понятно?

Молчание. Капрал с удовлетворенным видом улыбается трактирщику. Можно подумать, будто он считает недоразумение улаженным, но нет: мгновение спустя Три-Шестнадцать снова возвращается к прежней теме.

— Они такие же, как все животные. Встречаются мулы добрые и злые, уж поверьте моему опыту. Во всяком случае, они работают.

— Никто этого и не отрицает...

— Молчать, новобранцы, ваш капрал держит речь. Надо хорошенько изучить их повадки, чтобы заставить эту скотину ходить по струнке. Бывают мулы, что тянут плуг лучше самого сильного быка. И еще они просто незаменимы, когда надо ехать по гравию. И навоз на них перевозят, и дрова, и все, что угодно.

Приняв величественную позу, Три-Шестнадцать разъясняет двум товарищам, что, если бы не мулы, крестьяне в его родном Алваро никогда не смогли бы свести концы с концами.

— Не будь мулов, одной половине моих односельчан пришлось бы таскать другую половину на закорках... Вам ясно?

Рекруты кивают в знак согласия, им все ясно. Судя по тому, что им удалось узнать о прошлом капрала, Алваро, проклятая богом земля, находится у отрогов горного хребта, где-то у черта на куличках, и лишь выючные животные могут добраться туда. Ослы и мулы, особенно мулы, хоть они и злопамятны, а все же верные помощники крестьян.

Только спрашивается, существует ли более горький удел, чем всю жизнь находиться в услужении у бедняка? Существует ли?.. Отсюда — злобный нрав у мулов, и у тех, что используются в армии, и у тех, что принадлежат разным хозяевам. Мулам в Алваро приходится очень туго, один бог знает, как им тяжело, этим рабам нищих на нищей земле. То они погружаются по самое брюхо в поросшие вереском канавы, то карабкаются по чуть приметным тропинкам контрабандистов, высекая железными подковами искры из скал. И сколько пользы приносит эта терпеливая, поистине неоценимая скотина! Даже если за неимением иного корма она питается одвой лишь ненавистью.

— Знаешь, рекрут, прежде чем осуждать мулов, ты бы сперва поработал с ними.

Увлеченные спором, капрал и солдаты сбились в тесный кружок в углу зала. Они стоят совсем близко друг к другу, облизывают языком пересохшие губы, голоса их то и дело прерываются — типичная беседа пьяниц, упрямых и уже плохо соображающих, — вероятно, подумал бы хозяин, будь он склонен философствовать.

— Совершенно верно, сеньор капрал. Но здешние мулы другие.

— Они напоминают, если угодно, непослушных солдат,— терпеливо заметил Три-Шестнадцать.— А кто тому виной? Разве их не вынуждают чуть ли не с рождения нести военную службу?

— Это еще не довод, сеньор капрал.

— Ты полагаешь? А по-моему, довод, и довод убедительный. Окажись они за пределами казармы, эти хитрюги вели бы себя точно так же, как остальные, но здесь, ясное дело, они многое себе позволяют.

— Коварные, строптивые животные. Вечно норовят лягнуть.

— Коварные?— возразил с притворной кротостью Три-Шестнадцать.— Да что вы знаете о мулах? По какому такому праву честите без зазрения совести бедную скотину?

Охваченный внезапным порывом, он нетерпеливо расстегнул рубаху и продемонстрировал обнаженную грудь, этот свидетель не даст ему соврать. Тощая, как у всякого потомственного крестьянина, грудь его была сплошь испещрена рубцами и шрамами — следами от копыт ослицы Розы и от зубов мула Синко, отметинами ушибов и ударов при падении...

— Коварные, говорите?

Потрясенным (может быть, даже ошалелым от почтительного изумления) солдатам возвышающийся над их головами капрал, язвительно смеющийся и ударяющий себя кулаками в грудь, кажется ожившей статуей или, нет, человеком, конечно же, человеком, освещенным мертвенным светом газового рожка, который, оставая в тени углы, заливает центр зала своим холодным, пепельно-серым пламенем,— нет, скорее всего, святым великомучеником или прославленным героем, показывающим не рубцы, полученные в конюшне, а медали за бесчисленные подвиги.

— Поработайте с мое,— грозно заключает он.— Повозитесь вроде меня с мулами, а уж потом судите.

Три-Шестнадцать красуется перед новобранцами, ударяет кулаком в грудь, защищая оклеветанных животных; он требует к ним уважения, особого подхода, точно вдруг превратился в друга и защитника выючного

скота — ослов, лошаков, испанских мулов, крепких и выносливых, способных прийти в неистовство от одного вида крови, — словом, всех разновидностей этой породы.

Сон и вино давно уже сморили обоих солдатиков. То, что рассказывал капрал, воскрешает в их мозгу кошмарным видением. Старого служаки Три-Шестнадцать, который бил себя в грудь, бросая вызов небесам, и, почти касаясь потолка низенькой таверны, кричал во все горло, — Три-Шестнадцать нет больше среди них, он парит где-то в вышине, очень далеко, быть может над горными вершинами в Алваро; вот он очутился в открытом поле и размахивает руками, отбиваясь от вихрем налетевшего стада — от острых копыт и окровавленных морд. Мулы из всех казарм страны лягают его в грудь, покрытую шрамами, точнее, медалями; они катаются вокруг него по земле, носятся в неистовом галопе, таща за собой упряжь; кусают друг друга, брыкаются и хохочут, злобно хохочут, к ужасу несчастных солдат.

IV

Серкал Ново, сказали бы мы, — это сигнал горниста на краю равнины. Отзвук шагов часовых, совершающих обход при лунном свете, это парад кающихся грешников в португезах и кованых сапогах, война, заключенная среди каменных стен. И по воскресеньям пополудни двое солдат, взявшись за руки, прогуливаются взад и вперед по дороге, даже не поднимая глаз на равнину.

Солдаты в тавернах и те, что прогуливаются по дороге или несут караул с ружьем наизготовку, понятия не имеют, какое опустошение царит сейчас на полях. Они думают о самих себе, о своем собственном опустошении. «В Серкале много наказывают и мало кормят». Твердо усвоив такое наставление, новобранцы покидают друзей, родных и мотыгу и приобщаются к унылой казарменной жизни. В огромном большинстве это рабочие и крестьяне, одетые в военную форму, которую прежде носили другие рабочие, другие крестьяне или рыбаки; обмундирования, регистрационного номера

оказывается достаточно, чтобы оторвать их от родной земли, от равнины, что расстилается в двух шагах от них.

Можно безошибочно утверждать, что гудок паровоза и весточки от семьи помогают им переносить разлуку. Впрочем, вести с воли только приносят вред: поезд пробуждает угрызения совести у арестантов Сэркал Ново (за примерами недалеко ходить, Три-Шестнадцать служит тому наглядным доказательством), а весточки от родных тоже сущее наказание для тех, кто принимает близко к сердцу несчастья других, особенно в такое время года, когда поля начисто выметены ветром голода.

В самом деле, давно уже разбрелись по домам, окончив уборку урожая, артели батраков; одни, жители провинций Миньо и Бейры, направились к северу, другие, из Алгарвы, — к югу. Но всех их одинаково коробили исполненные ненависти взгляды алентежанцев.

— Иуды, презренные иуды!

Они, разумеется, все понимали и продолжали свой путь, понурив голову. Батраки согласились работать за плату, отвергнутую местными поденщиками, и — что поделаешь? — теперь им приходилось глотать оскорбления. «Но, — мысленно вопрошали они самих себя, — справедливо ли было, если бы они вернулись из такой дали к жене и ребятишкам с пустыми руками?» «Справедливо ли это было бы?» — спрашивали они себя.

И вот они возвращались в родные края, в полном молчании минуя поселки и деревушки. Они прибыли с песней на устах (особенно веселились работники из Алгарве), под звуки аккордеона и с цветком на шляпе, одушевленные надеждой обрести хлеб и веселых товарищей, а покидали Алентежо, как побитые собаки, униженные, всеми отвергнутые.

После их ухода степь опустела и на деревенских площадях стали собираться толпы безработных. Сорняки заполонили поля, они появлялись на скошенном жнивье так же молниеносно, как огонь охватывает сухую солому; скалы и валуны сделались прибежищем множества змей, и буйные сентябрьские ветры, вызывающие у крестьян ужас, не заставили себя долго ждать. Словно охваченные безумием, бежали они по

равнине, усеивая все вокруг камнями и колючками чертополоха, горизонт почернел от полчищ саранчи, принесенной ураганом с берегов Африки; жирные, тяжелые насекомые, напоминавшие обгорелые головешки, пожирали то, что еще уцелело, опустошая землю до основания.

Среди всеобщего разрушения только силуэт покрытой кожухом молотилки возвышался на поле. И эта машина, брошенная на произвол судьбы в степи без конца и без края, попорченная жучками и сучьями кустарников, пыльными вихрями и зноем, эта одетая в саван машина была одновременно и никому не нужной рухлядью, и грозным предостережением. «Я здесь, — напоминала она мечущимся в поисках работы алентежанцам. — И с помощью приводных ремней, моих неотомимых нервов, выполняю работу за всех вас».

А в результате на юге, в местечке Симадасе, патрулируют жандармы Национальной республиканской гвардии. Накануне женщины из Симадаса пришли в Поселок и все вместе явились в муниципалитет. Они просили хлеба своим детям и работу мужьям.

— Опять запахло политикой, — потихоньку перешептывались писцы. Сержант Леандро из Национальной гвардии спал младшую Сота и отвел ее в полицейский участок: «Ну-ка расскажи мне толком, девочка, что за чертовщина творится сейчас у вас в Симадасе?»

Крестьянки из Симадаса сновали по улицам Поселка, от дома к дому, вызывая к местным жительницам, ведь они такие же женщины и тоже обременены детьми, тоже бедные. «Что происходит? Что все-таки происходит?» — чирикал ветеринар, прыгая по аптеке, точно птица в клетке. «Серьезный случай», — сокрушенно вздыхал муниципальный советник, с опаской выглядывая в окно из-за шторы. Один вздыхал, другой чирикал, сержант Леандро лаял, призывая к порядку, порядку и еще раз к порядку. Все они говорили на языке перепуганных животных. «К порядку, или я камня на камне не оставлю!»

Отборной бранью и угрозами, но главным образом с помощью солдат Леандро удалось-таки заставить женщин отступить на дорогу, ведущую в Симадас. Солнце

давно зашло, когда они покинули Поселок, а когда вдалеке при входе в деревню показался полуразрушенный, с потрескавшейся черепицей домишко семьи Сота, уже совсем стемнело. Женщины оцепенели от изумления: старая Казимира поджидала их.

— Что с ней, что с моей Флорипес?..

Никто не ответил ей. Стоя на вершине холма около ветхих стен, старуха тщетно ждала ответа, она широко раскрыла глаза и вдруг как будто стала выше ростом, словно что-то огромное распирало ее изнутри. Наконец, не в силах больше сдерживать ужаса и боли, всего, чем наполнилась ее грудь и что было куда больше ее самой, она с мольбой воздела руки к небу; догадка молнией озарила ее:

— Они схватили мою внучку!

Душераздирающий крик пронзил ночную тишину. Не покидая своего поста, никому не разрешая себя поддерживать, старая Казимира начала проклинать белый свет, Национальную гвардию, себя самое и свою злощастную судьбу. Слова оказались бессильны облегчить ее муки, и она рвала на себе волосы, извивалась, желая поскорее очнуться от этого кошмарного сна.

— Ах, злодеи, они украли у меня Флорипес! Они украли у меня мою любимую внучку! Что теперь со мной станется, господи Иисусе? Что теперь со мной станется, сеньоры? Что будет со всеми нами без моей маленькой Флорипес?

Мужчины и женщины выскальзывали, точно привидения, из мрачных нор убогой лачуги и окружали Казимиру. То был целый выводок выращенных ею детей и внуков. На фоне их темных фигур еще отчетливее выделялся в лунном свете силуэт пожилой, охваченной неистовством женщины. Она не плакала, нет, глаза у нее были суровые, ожесточенные; взгляд — острее звериных когтей.

— Ах, моя Флорипес!

На рассвете, когда Казимира, полумертвая от усталости, все еще продолжала охрипшим голосом жаловаться на несправедливость судьбы, в селении появились два конных жандарма. Едва завидев их, она торопливо сбежала вниз по склону, растрепанная, в развевающейся одежде.

— Ради бога, отвезите меня к моей внучке! Умоляю вас, сеньоры!

Верховые осторожно теснили ее назад.

— Спокойно, бабуся, не тормошись. Возвращайся домой, завтра она сама придет.

— Отвезите меня сейчас. Сделайте такое одолжение, возьмите меня с собой.

Казимира цеплялась за стремяна и краги жандармов, она с трудом переводила дух, в груди у нее что-то дрожало, наверное непролитые слезы.

— Увезите меня к моей девочке. Увезите меня к внучке! Вы не видели мою внучку? Вы не видели ее, черт возьми?!

Семейство Сота смотрело с вершины холма на бабу, стоящую внизу перед двумя горячими лошадьми. Она просила, заклинала, умоляюще складывала руки — пусть ее только выслушают, — но ей приходилось отступать перед натиском разгоряченных животных и вновь подниматься на возвышенность. Тогда крестьяне из Симадаса поспешили ей на подмогу, а обитатели лачуги направились по откосу навстречу им. Они медленно приближались: одна группа снизу, другая сверху, молча отсчитывая шаги. А между ними жандармы сержанта Леандро взводили курки.

— Расходитесь по домам, — приказывали они, гарцуя на лошадях прямо перед несчастной старухой.

Оба всадника держались рядом, так, чтобы наблюдать за семейством Сота и за крестьянами из Симадаса. Казимира, не переставая пятиться задом, пошатнулась, дети и внуки тотчас подбежали к ней, но она уверенно выпрямилась, взмахом руки заставила их удалиться. Теперь она уже не говорила, не упрашивала солдат. Она спотыкалась, падала и вновь вставала, отступала на шаг, останавливалась: она обессилела, но продолжала сопротивляться, твердая как утес. Руки ее были в крови, глаза застилала земля. Земля, а не слезы.

Но вот и полуразвалившиеся стены халупы, дальше отступать некуда. Очутившись наверху, старуха растопырила руки и застыла, окруженная семьей, прямо у ног лошадей. Она ударилась о пахнущую соленым потом стену плоти, почувствовала на себе теплое дыхание и слюну и, ничего не понимая, опустилась на колени.

— Матушка! — Сота бросились поднимать ее.

Казимира посмотрела на жандармов. Она позволила поставить себя на ноги, не сводя с них пристального взгляда, не отступая ни на пядь; наконец, уже выпрямившись во весь рост, порывисто повернулась и кинулась к дому, обхватив голову руками.

Жители Симадаса, достигшие середины холма, внешне сохраняли спокойствие, зубы их были крепко стиснуты, и они не выпускали изо рта сигарет. Миновав жалкую хижину Сота, всадники пустили коней по другой стороне холма, избавившись таким образом от необходимости расчищать дорогу среди крестьян.

V

По небольшой, хорошо утоптанной площадке разъезжают двое вооруженных всадников. Они словно ищут подтверждения, что эта земляная насыпь, этот колодец — Симадас. Вокруг ни одного деревца. Все тусклое, бесцветное, повсюду царит мертвая полуденная тишина. Верховые в тиковых мундирах с карабинами на седле вздыбливают лошадей, заставляют их поворачиваться, скакать взад и вперед, как если бы они занимались вольтижировкой на пустой арене. Они отлично знают, что в таверне полно людей и что у дверей каждого дома на площади безмолвные женщины настороженно следят за ними. Но разве можно назвать этих женщин живыми существами? И поэтому посланцы сержанта Леандро, обводя блуждающим взором окрестности, стены домов, не задерживаются на их силуэтах. Для солдат они что-то вроде опознавательных знаков или свидетелей, которые ничему не мешают.

Всякий раз, как жандармам приходит в голову мысль напоить коней, они приближаются к колодцу. Снимают с них удила, — так оно выгоднее! — треплют по загривку, посвистывают и даже улыбаются лошадям.

— Эти мерзавцы испоганят нам воду, — вполголоса переговариваются в трактире крестьяне. Перед ними разложены карты, все сидят спиной к площадке. Нет никакой нужды оборачиваться, чтобы знать, что про-

исходит снаружи. По тому, откуда доносится шум, по цоканью копыт на утрамбованной земле или на булыжной мостовой они точно определяют местонахождение всадников и причины, приведшие их туда.

Все достигает их ушей с поразительной четкостью. Они расшифровывают шорохи и шаги, будто читают раскрытую книгу. Вот слышатся нервные удары копыт и грохот скатывающихся камней: это жандармы взбираются по откосу к домику Сота, им хочется обозреть с высоты дорогу в Поселок — вдруг вдалеке покажется патруль, едущий им на смену. Потом они останавливаются на площади у колодца; по прыжку петрудно догадаться, что кто-то спешился. Напоит ли он коня или сначала пройдет пешком, размять ноги?! «Слушай внимательно!» — советует внутренний голос каждому из игроков в таверне.

И в самом деле, в молчании неподвижно застывшего утра раздается скрипение колодезного ворота, медленное, очень медленное и печальное, как чей-то одинокий плач, — особенный звук, ни с чем другим его не спутаешь. Сейчас захочет ведро на дне колодца и жандарм, ласково похлопывая коня, примется его уговаривать: «Ну пей же, пей, дружок! О-ля-ля!»

В кабачке на скамейках крестьяне протяжно вздыхают:

— Сколько воды переводят даром эти бандиты!

— Они нарочно так делают. Мало того, что загрязнили наш колодец, теперь задумали вычерпать его до дна.

— Им отдали такой приказ, дядюшка Анибал. Они базарят воду потому, что им так велели.

— Что ты городишь, сынок, одумайся! Неужто существует приказ портить воду своих ближних? Это они по собственному почину безобразничают, можешь не сомневаться. Совести у них ни на грош, они способны на любую пакость.

— Они подчиняются приказу, который получили, дядюшка Анибал.

— Не мели ерунды.

— Уж какая там ерунда. Коли довелось бы вам служить в армии, дядюшка Анибал, вы бы тогда понимали, что значит для военного приказ командира. Горе

тому, кто осмелится его нарушить, горе ему, можете мне поверить...

— Во всяком случае... — попытался было возразить старик, которого называли Анибалом. — Во всяком случае...

В молодости он работал в Эворе, где был расположен гарнизон трех полков, и год за годом наблюдал поколения солдат, начиная с забытых ныне Королевских драгун, героев его далекого детства, и кончая собственным сыном, который служит теперь в Серкал Ново и присылает оттуда письма, выведенные старательным круглым почерком школяра.

Анибал радовался каждой весточке от сына-солдата и особенно его успехам в письме. Сам он, проживший долгую жизнь и страстно любивший чтение, сохранил поразительную память, свойственную обычно неграмотным, хотя умел бегло читать и писать; он повторял про себя, строчка за строчкой, чуть ли не все послания Абилио. Одиноким старик утешал себя тем, что постоянно превозносил преимущества, какие извлекает военный, находясь на службе у государства, ведь солдаты обучают грамоте и устному счету, а также разным другим премудростям, в том числе обращению с оружием.

«Солдат — сын отечества», — не устал он твердить и нисколько не сомневался, что родители военнослужащего, давшие ему жизнь, тоже должны почитаться за благодетелей отчины и встречаться в гарнизоне с распростертыми объятиями, как почетные гости. Он вспоминал черные от копоти казармы в Эворе, которые были столь знакомы ему и которые так часто посещали некогда родственники солдат, они приезжали издалека и закусывали вместе с солдатами в саду или в тени караульной будки; Анибал углублялся в прошлое, еще более отдаленное прошлое, и рисовал в воображении маркитанток; если верить рассказам, они сопровождали в прежние времена воинов в великих походах, а на деле заменяли солдатам жен — истинная услада плоти и радость военного. «Раньше, в прошлом веке, у рекрута все было, — заключал старик, — хлеб, женщины и власть. Но маркитантки... — Здесь Анибал обычно задумывался. — Сколько столетий их уже нет?»

Когда он воскрешал в памяти всевозможные ратные подвиги, о которых поведали ему в детстве Королевские драгуны, на ум неизбежно приходили маркитантки, и всякий раз он задавал самому себе неизменный вопрос: «Маркитантки?! Ошибаюсь я, или эти женщины и впрямь существовали?»

Старик, как он это часто делал, пытался отделить то, что запало в его исключительную память из книг, от виденного собственными глазами. С возрастом он все чаще стал путать реальность и вымысел, иногда ему начинало казаться, будто он читал или представлял себе действительно происходившие сцены, и он горько сокрушался, что голова слабеет под бременем прожитых лет. Удивительней всего было то, что самые старые истории возникали в его мозгу с какой-то пугающей четкостью. Но он все равно сомневался в их достоверности — где ж ему, вдовому одинокому старику, взять свидетелей, которые могли бы подтвердить, что такие-то случаи и такие-то факты в самом деле имели место, а не являются плодом его воображения, не вычитаны из популярных брошюр и книг и стали былью лишь потому, что он повторял их про себя бесчисленное число раз.

Как бы там ни было, Анибал принимал участие в казарменной жизни благодаря старым историям, а через несколько десятков лет вновь приобщился к ней благодаря письмам своего сына. Он отлично знал, что теперешние порядки разительно отличаются от тех, что господствовали при блаженной памяти Королевских драгунах, и даже от тех, какие он наблюдал в замызганных казармах Эворы. «Сейчас рекрутов чаще муштруют и реже наказывают, а также лучше следят за чистотой, — признавал он, — больше не увидишь шеренги солдат в обтягивающих рейтузах, и почти поголовно страдающих венерическими болезнями. И больше не существует маркитанток, если они вообще когда-либо существовали. К тому же, что ни говорите, изобрели новые лекарства».

Старик предается своим раздумьям, а тем временем его односельчане, сидящие рядом с картами в руках, заняты чем угодно, только не игрой. Они говорят о конных жандармах сержанта Леандро, о воде, принад-

лежащей всей деревне, кто-то вспоминает о Флорипес, арестованной в Поселке.

— Неужели ее все еще держат в полицейском участке? — интересуется он. — Или может быть, она в тюрьме? В Бежа или в Лиссабоне?

— В Кортисале начали с того, что забрали учителя и парней с фермы. А здесь для почина принялись за женщин. Какой позор! Уводят наших девушек, поганят нашу воду, надзирают за нашими домами... В один прекрасный день придется спрашивать разрешения спустить штаны за забором.

— Внимание! — восклицает один из игроков. — Они привязывают лошадей к колодцу.

Остальные не двигаются с места. Держа перед собой карты, они жадно слушают товарища, наблюдающего за тем, что происходит на площади.

— Мерзавцы! Столько места, чтобы привязать животных, а они выбрали именно колодец. Да еще и ремни сделали покороче, дьяволы души. Совсем короткие, черт бы их побрал.

— Они привязали их к ручке?

— Да, к ней. И теперь принялись расседлывать лошадей. Уже сняли седла.

— Не хочешь же ты сказать, что они собираются мыть их нашей водой?

— Чему ты удивляешься? Пока они вытирают с них пот.

— А чем вытирают?

— Соломой. Дай-то бог, чтобы животные не испугались.

— Не волнуйся. Испугаются, тем лучше.

— Так-то оно так, только они могут сломать ручку, дядюшка Анибал. Сколько времени я твержу, что надо заменить у колодца ручку.

— Ручка еще ничего, может немного и послужить, — вмешался в разговор третий. — Хуже обстоит дело со срубом. Через год, самое большее через два, он обвалится.

— И по-моему, лучше бы подождать, пока не вычистят колодец. Снимут вал, прицепят другое ведро...

— Зачем другое? Поставить на это две заплаты, и оно будет, как новенькое.

Колода карт лежит на столе, но никто к ней не притрагивается, крестьяне совещаются между собой приглушенными голосами, точно заговорщики. Они уже не говорят о жандармах, которые перестали их занимать. Не обращая больше внимания на полицейских и лошадей, игроки увлеченно обсуждают будущее Симадаса после отъезда посланцев сержанта Леандро — колодезное ведро, оживленную площадь, то, что останется с ними навечно.

— Ведро придется выбросить, — замечает кто-то. — Не можем же мы им пользоваться, раз из него пила скотина.

— Отмоется. Мы его почище вымоем и поставим две заплаты, так оно станет лучше нового.

Тот, кто следит за событиями на площади, закричал:

— Ну вот, разве я не говорил? Ручка отходит в сторону!

Анибал стукнул кулаком по столу.

— Пойду предупрежу; если мы не поставим их на место, эти варвары все у нас переломают.

К счастью, приятели вовремя успели удержать его за руку и, прежде чем старик добрался до двери, проход был прегражден.

— Дядюшка Анибал... Ну, дядюшка Анибал... — ласково уговаривают они его, и вдруг раздается чей-то голос:

— Глядите, что это у них там, а?

Все замерли, разинув рот от изумления: всадники, сидящие на краю колодца, достают из кожаного патронташа маленькие кусочки металла, сверкающие на солнце, как монеты.

— Пули, — торжественно объявляет трактирщик. — Они пересчитывают их, чтобы дать отчет начальнику караула.

VI

Жандармы, чье поведение обсуждали в таверне, уселись у ворот скотного двора. Они расстегнули мундиры, расположились поудобнее и, задумавшись каждый о своем, наблюдают за курами, копошащимися в земле

около колодца, в тени, падающей от лошадей. Перед стражами порядка стоят котелки с едой и каски, карабины прислонены к стене загона; над ними — солнце в зените и край крыши, дающий немного прохлады. Жандармы ожидают, когда их сменят, они покинули полицейский участок затемно и оставили позади себя немало километров.

Это солдаты Леандро, сержанта из Поселка. Они прибыли в Симадас в сумерках, ориентируясь по огонькам, по лаю собак на фермах или, что всего вернее, полагаясь на великолепную память лошадей, успевших в почных дозорах изучить здешние тропинки.

— Наша система ни к черту не годится, — высказал свое мнение один из солдат, отдыхающих сейчас у загона. — Рано или поздно бродяги все равно пронюхают обычный маршрут патрулей и, ясное дело, постараются избегать его. Тем не менее, — признал он, — это самый надежный способ прибыть к месту назначения и, кроме того, самый скорый. Привязать где-нибудь лошадь и тащиться на своих двоих куда труднее и даже рискованнее; во время пешего перехода жандармы нередко теряют тропу и бродят в темноте, не в состоянии отыскать дорогу без привычных указателей: огонька, крика петуха-полуночника, а главное, без собачьего лая.

Иное дело верхом: чуткая к малейшим шорохам, лошадь никогда не сойдет с нужного направления, различая в ночи самые далекие отзвуки, инстинктивно обходя канавы и рытвины; найдя тропинку, она дрожит от радости и бросается вперед с удвоенной энергией, и, если животное с таким тонким нюхом почует след или запах, никакая сила на свете не сможет его остановить. Тогда разумней всего отпустить поводья, вверяя себя скакуну, его поразительной способности запоминать дорогу.

— Что новенького? — кричали солдаты Национальной гвардии, подъезжая к ярко освещенной ферме, хижине пастуха или воротам господского дома, охраняемым сворой собак.

Им не всегда отвечали сразу. Чаще сперва осторожно приоткрывались ставни, и всадники пядь за пядью обшаривали лучом карманного фонарика стены и ворота, разгоняя ночные тени.

— Эй, хозяин! Это полиция!

В Майа их встретил управляющий с громадной овчаркой на поводке. За чашкой кофе он рассказал о рыскающих поблизости шайках крестьян. Солдаты слушали, сочувственно кивали головами, однако не спешили выполнить свой долг. Они знали, что речь идет о безработных батраках, пытающихся подстрелить в полях какую-нибудь дичь, чтобы не умереть с голоду.

— Если сюда не примешалась политика, это еще полбеды, — пытались они успокоить управляющего.

— То есть как это полбеды?! Значит, охота разрешается и после закрытия сезона? Разве это не преступление, господа жандармы? Разве браконьеры не наносят ущерба чужой собственности?

Верховые сержанта Леандро привыкли к подобным жалобам на голодных бродяг. На заре, в неверном свете занимающегося дня, им предстояло отправиться в дубовую рощу на поиски бездомных, застать их врасплох и, выгнав ударами дубинки из зарослей кустарника, обратить в бегство.

Обычно они настигали крестьян в пахнущем утренней свежестью лесу поодиночке или небольшими группами. Все, что попадалось этим несчастным под руку, будь то зайчонок или старая облезлая птица, гибло. Затем они выбегали на дорогу и, потрясая перед носом путников и туристов своей добычей, просили:

— Купи у меня дичь, дружище!

Они не кланчили милостыню, нет, они только сообщали о своей нужде:

— Купи у меня дичь, дружище!

Жандармы издали грозно косились на них, но слезать с лошадей не осмеливались, отлично понимая, что, если они ввяжутся в историю, им несдобровать: тот же ветер, что опустошает равнину, увлекая безработных все дальше и дальше в поисках мелкой живности, сметет их с лица земли. Но они являлись блюстителями закона и с важным видом покачивали головой в ответ на жалобы смертельно напуганных фермеров, которые поили их кофе и глаз не могли сомкнуть из-за постоянного страха перед бандами, и потому всадники Леандро без усталости кружили по бурой сентябрьской степи, днем

и ночью, ночью и днем, пока их не задержала выпущенная остановка на площади в Симадасе.

Сидя на земле у ворот скотного двора, они, вероятно, раздумывают теперь обо всем: об управляющих, о выжженной солнцем земле, о печальных мордах лошадей, привязанных у колодца. На площади уже не видно жещин, подозрительно следящих за каждым шагом незваных гостей; должно быть, они притаились у окон домов, сдерживая петерпеливых детишек. А возможно, у них обед и вся семья молча сидит за столом, не обмениваясь ни единым словом, ведь в полях сейчас так пусто и уныло. «Но что же они едят? — спрашивают себя солдаты. — А посетители трактира? Может статься, они вообще не едят».

Посетители трактира, разложив перед собой для отвода глаз карты, замышляют месть. После длительных секретных переговоров они решили отравить воду в колодце. Но в конце концов пришлось отказаться от такой мысли. Хозяин воззвал к их здравому смыслу:

— Сами посудите, к чему это приведет, стоит ли отравлять колодец, когда нам больше неоткуда брать воду?

Возразить, увы, было нечего. К осени все ключи и водоемы на равнине иссякли, их вычерпали до дна, и в колодцах, глубоких колодцах с навесом от солнца, тоже не осталось ни капли.

— Кроме того, мы ничего не выиграем, — продолжал трактирщик. — Если поразмыслить хорошенько, что мы выиграем, отравив колодец? Ну, подохнут лошади, и что дальше?

— А они?

— Жандармы?! Наивный ты человек! Разве ты не видишь, что они пьют только из своих фляжек? Ты еще не заметил, что они привозят их с полицейского участка полнехонькими?

— Вино и порох, — вздохнул Анибал. — Когда солдаты отправляются на войну, фляги у них наполнены вином и порохом.

— Верится с трудом, — вступил в беседу остановившийся в Симадасе торговец растительным маслом, в 1919—1920 годах он проходил военную службу в Бежа. — Я вроде никогда не слыхал о подобных вещах.

Хозяин кабачка возразил:

— Кто знает, на войне, наверное, так оно и есть, но, сдается мне, дядюшка Анибал, у нас тут все-таки не война.

Старик помедлил с ответом, он глядел на лежавшую у его ног собаку. Сначала ему хотелось промолчать, в конце концов неуместное замечание исходило от постороннего. «Но именно поэтому не стоит спускаться,— подумал он.— Тем более не стоит». И глухим, надтреснутым голосом произнес, обращаясь к торговцу растительным маслом:

— Для них, приятель, это не что иное, как война. Национальная гвардия ведет с нами самую что ни на есть настоящую войну.

— Ну, в таком случае эта война сильно отличается от того, какой я себе ее представляю,— вставил торговец маслом (старик кивнул головой в знак согласия).— Я никогда не слышал, что война может протекать таким образом. А я служил в армии в критический момент.

— Почему в критический? — заинтересовались все разом.

— Потому что это происходило в девятьсот девятнадцатом году, тогда каждый боялся, что его призовут.

— Были маневры?..

— Гораздо хуже, царил страх, все боялись новой войны. Молодые парни старались под любым предлогом избежать медицинской комиссии. Некоторые даже отрубали на руке большой палец, чтобы нечем было нажимать на гашетку, а семьи, откуда забрали сыновей на военную службу, облачались в траур, как по умершим. Вы помните, дядюшка Анибал?

Старик утвердительно кивнул, прикрыв глаза. Он сидел очень прямо, прислонившись спиной к стене и сложив руки на коленях, как сидят обычно пожилые люди, внимаая рассказам о прошлом и забываясь в мечтах о нем. Он слушал и, не желая дать болтовне торговца маслом увлечь себя, бурчал под нос:

— Солдатские рассказы, все это солдатские рассказы. Такие же неправдоподобные, по сути дела, как охотничьи истории.— И гладил по спине своего пса, лежавшего под столом.

Между тем он сам был охотником, точнее, некогда

был, и к тому же слыл метким стрелком. Но именно поэтому очень хорошо понимал, как любит охотник прихвастнуть, ибо по-настоящему интересные моменты в его жизни редки. Даже крайне редки, если рассудить хорошенько.

— Служба есть служба, она всегда одинакова, — заметил он торговцу маслом.

— Всегда одинакова? Вы считаете так потому, что никогда не служили в армии. В мое время, дядюшка Анибал, один только ранец весил тридцать килограммов.

— Тридцать килограммов?!

— Да, тридцать килограммов, представьте себе. Все мои сверстники помнят об этих ранцах. Они вошли в историю. Много лет спустя еще говорили: ранцы девятьсот девятнадцатого года.

Торговец маслом, бывший ординарцем капитана и ухитрившийся в трудный период 1919—1920 годов избежать отправки на фронт, не смог, несмотря на всю свою ловкость и изворотливость, увильнуть от ужасного ранца. Он славился тем, что мог обвести вокруг пальца кого угодно, в том числе и врачей. Однажды этот плут явился в военный госпиталь дрожа как в лихорадке, и ни один медик не догадался, что вся его болезнь происходит от дольки чеснока, засунутой в задний проход и пропитанной каким-то снадобьем, данным ему неким аптекарем из Берингела.

Увы, хоть торговец растительным маслом и был способен на любые проделки, с честью выходя победителем из самых трудных положений — в конце концов он-таки сбросил военный мундир, — но одного противника он все же не сумел одолеть, и это был ранец.

— От ранцев никому не удавалось освободиться, — признался он, почесывая затылок. — Хоть на стенку лезь, а от ранца никак не отвертись.

— И капралы тоже?

— В те времена и капралы.

— А сержанты?

— Сержанты непременно должны были участвовать в походах... Часто приходилось топать по двадцать километров в каске и с пистолетом.

— Но без ранца...

— Это конечно... Сержанты без ранца... Когда я го-

ворю: «Никому не удавалось», я имею в виду солдат.

Анибал снова ворчит про себя:

— Опять охотничьи истории. Двадцать километров и еще бог знает что, и все, чтобы подстрелить несчастного зайца.

— В самом деле двадцать километров? — переспрашивает этот снедаемый любопытством бывалый человек хвастуна торговца. — Зачем столько километров, скажите на милость?

— Зачем? Да уж затем, дядюшка Анибал. Верно, чтобы укрепить мышцы, почем я знаю.

— Находятся и такие, что утверждают, — ввертывает хозяин трактира, — будто наши солдаты не были бы столь самоотверженными и храбрыми на войне, если бы их не муштровали в казармах.

— Истинная правда, — поддакивает старый Анибал, тут же вспомнив о книгах по истории, излюбленном своем чтении. — Примеров более чем достаточно.

Он знал наизусть целые страницы и охотно повторял их, сияя от удовольствия, едва только находились желающие послушать. Не важно, что аудитория казалась рассеянной и чаще всего внимала с вежливым молчанием тому, о чем он с таким наслаждением повествовал. Она уважала чтение, что само по себе неплохо; и он находился среди людей, а это уже совсем хорошо.

— У вас на уме одни легенды да старые истории, — упрекали его неоднократно, и Анибал не обижался, хотя любил, говоря откровенно, помечтать, погрузившись в сладкую дремоту (в свои шестьдесят восемь лет он продолжал каждую ночь видеть сны и помнил их по крайней мере весь следующий день). Он твердил в свое оправдание, что увлекается не легендами, а подлинной историей, «отрывками из португальских старинных хроник», пояснял он.

И вот, взглянув на будильник, стоящий на прилавке трактира, и припомнив, что уже несколько месяцев он не брал в руки купленной по случаю на ярмарке «Книги о маврах», старик поднялся и пошел к выходу. Он не хотел слушать хвастливых охотничьих рассказов, то бишь новых выдумок торговца маслом. Его ожидало более интересное занятие.

Он направился вдоль домов, сделав большой крюк,

чтобы не сталкиваться с жандармами на площади. Следом за ним плелась собака, жара разморила ее, и она еле переставляла ноги, вялая, апатичная, опустив морду, так что высунутый язык почти касался пыльной земли.

Сидящие у ворот загона всадники сержанта Леандро проводили взглядом старика и собаку. Потом один из них указал подбородком в сторону таверны и спросил товарища, будто обращаясь к самому себе:

— А другие? Они, что же, совсем не едят?

Вопрос его повис в воздухе. Перед глазами жандармов расстилался Симадас: пепельно-серая степь, безмолвие. А пересекающий пустырь старый крестьянин восстанавливал в памяти набранные убористым мелким шрифтом строчки из популярной брошюры:

«Заря поднималась над лимонными деревьями замка, когда охваченные тревогой рабыни могущественного Якуба в прекрасном городе Улисса¹ возвестили о том, что приближается флот отважных лузитан...»

VII

Посмотрим теперь, что за преступление совершила Флорипес.

Сержант Леандро из Национальной республиканской гвардии запер ее на двое суток в карцер при полицейском участке, и, когда ему показалось, что наступил подходящий для допроса момент, он вызвал девушку в кабинет.

— Кто зачинщик мятежа? — спросил он. И тут же добавил: — Почему ваши крестьяне не согласились работать за поденную плату, предложенную землевладельцем из Лузадо?

Флорипес ответила, что они не могли согласиться работать за предложенную землевладельцем из Лузадо плату, потому что она осталась точно такой, как в прошлом году, а цены за это время сильно возросли. Была и еще одна причина: в Лузадо привезли несколько уборочных машин, и поденщикам уже не обещали столь же

¹ Согласно легенде, Лиссабон основан Улиссом. — Здесь и далее примечания переводчика.

продолжительный, как и в предыдущем сезоне, контракт. По подсчетам крестьян, количество рабочих дней должно было уменьшиться на целую треть.

— Понятно, все понятно. А почему вы не навялись к арендаторам Вересковой пустоши? Скажешь, тоже не подошли условия?

— В Вересковой пустоши обещали платить на два эскудо больше, зато не разрешалось отдыхать после обеда.

— А вам бы все только спать да спать, больше вас ничто не интересует. Очень мило! Являетесь сюда скопом попрошайничать, кланчите хлеба, а когда вам его предлагают, нос воротите.

Флорипес молчала.

Полицейский участок состоял из кабинета Леандро, смежной с ним небольшой комнаты и карцера. Это был скромный домик, похожий на многие жилища Поселка, правда более холодный. Постоялый двор для вооруженных путешественников, которые приезжают и уезжают, не успевая оставить даже следа своей индивидуальности, своих привычек.

Флорипес уже нет в кабинете сержанта. Ее отвели в соседнюю комнатку, служившую жандармам спальней, и, очутившись одна перед тремя кроватями, тремя солдатскими одеялами, тремя шинелями, висящими у изголовья, она содрогнулась: «Вдруг они меня изнасилуют?»

В каморке было низенькое оконце без решетки, с шестом для флага, установленным на подоконнике. Это ее успокоило. Потом она окинула взглядом грубо сколоченный из сосновых досок стол, придвинутый к стене; учебники, самопишущая ручка, бумага, шашки — все было аккуратно прибрано, как водится у служак, большую часть времени проводящих в канцелярии. Флорипес с опаской продолжала разглядывать комнату, одним глазом косясь на дверь; она была босиком, туфли держала в руках. Девушка озиралась по сторонам, когда неожиданно вошел молодой жандарм.

Без краг и без пистолета он напоминал отпускника, гостящего у родителей. Паренек все еще одет в форменные брюки, пропитавшиеся запахом казармы, и сохраняет в отчем доме замашки военного, однако ходит с

непокрытой головой, в сандалиях на босу ногу и растегнутой рубашке. Солдат появился на пороге, беззаботно размахивая кувшином с водой и жестяным ковшиком; прежде всего он закрыл оконные ставни. Потом снял с кувшина мокрую тряпку, напился и протянул ковшик девушке из Симадаса:

— Хочешь?

Флорипес не отказалась, надо было лучше подготовиться к наступающей ночи, ведь ей предстояли серьезные испытания, борьба с жарой и усталостью, которая, судя по всему, скоро совсем овладеет ею. Она почти физически ощущала ничем не нарушаемое, глубокое спокойствие Поселка и, спрятав за спиной туфли, стоя ждала. В смежной комнате сержант Леандро то и дело снимал телефонную трубку:

— Алло. Леандро у телефона, сеньор лейтенант. Слушаю, сеньор лейтенант... Очень хорошо, сеньор лейтенант...

По отдельным, брошенным вскользь замечаниям девушка догадалась, что крестьянки из Симадаса давно покинули Поселок. Тогда она задала себе вопрос, зачем же ее, собственно, приволокли сюда и чего, в конце концов, от нее хотят. «Попугать меня им вздумалось? Или примерно наказать, чтобы впредь не повадно было?» И она посмотрела на молодого жандарма.

Но тот, казалось, не обращал на нее ни малейшего внимания. Он сидел за сосновым столом (разумеется, лицом к задержанной) и что-то писал в тетрадке для домашних заданий вечной ручкой, поминутно обмакивая ее в чернильницу. Ни голос Леандро, ни присутствие девушки из Симадаса не отвлекали его от занятий. В поисках ответов он листал учебник, покусывал кончик ручки и время от времени, задумавшись, говорил вслух.

— Греция,— растерянно прошептал жандарм. И взглянул на узницу таким отсутствующим взглядом, что той сразу стало ясно: мысли его витают далеко. Затем он принялся рыться в учебнике.— Столица Греции... столица Греции...

— Афины,— подсказала Флорипес. В семье Сота она единственная сдала экзамены за начальную школу и читала газеты.

Парень явно недоумевал и недоверчиво уставился на нее:

— Афины?

— Афины, сеньор. Столица Югославии Белград... Столица Болгарии София... Столица Греции Афины...

— Афины,— жандарм записал это в тетрадь для упражнений,— А-фи-ны.— И, снова приняв озабоченный вид, начал рассматривать перо. Внезапно он будто очнулся: — А реки? Реки ты тоже знаешь?

— Смотря какие,— ответила девушка, приближаясь к столу.— Что за река вам нужна?

— Мондего.

— Мондего? Мондего — самая большая река, которая берет начало в Португалии, она протекает в Коимбре и МонтеMORE и впадает в океан около Фигейра да Фозы...

— Мне нужны притоки,— оборвал ее солдат.— Тут спрашивают только о притоках.

— Одну минуту. Протекает в Коимбре и МонтеMORE и впадает в океан около Фигейра да Фозы... Основные притоки — Алва, Дао, Сейра... Вот так...— Она провела по карте пальцем: — Дао. Дао, Алва, Арука...

Головы пленницы и жандарма, склоненные над учебником, почти касались друг друга.

— Пишите. Сначала Дао, затем Алва, затем Арука...

— Кому все это нужно? — вполголоса протянул полицейский.— Столько мучений, чтобы сдать экзамен на чин капрала.

— На этот вопрос надо ответить: «Тежо».

— На какой?

— А вот: «Самая большая река Пиренейского полуострова...»

— Благодарю за сообщение. Но меня интересуют притоки и порты.

— Притоки Тежо?

— Нет, всех остальных рек. Про Тежо они никогда не спрашивают. Отправляйся-ка ты теперь на место. Ты прекрасно можешь отвечать на вопросы, находясь там, где положено.

Флорипес повиновалась. Незаметно, пока молодой жандарм писал и отыскивал ответы, она опустила на

краешек раскладушки, но, увидев, что он поднял голову, поспешно вскочила.

— Спрячь свои туфли, — посоветовал ей солдат. — Если наши заметят, что ты обута, тебе не разрешат больше разуться. — Он опять склонился над тетрадями и добавил: — Ведь простоять на ногах целую ночь не шутка...

VIII

Двое пожилых людей задумали отправиться в Поселок и теперь шли по дороге, озаренной светом луны; это были Казимира, всегдашняя опора семьи Сота, и Анибал, отец рекрута.

Он так объяснил цель своего похода:

— Я иду в Поселок, соседка, чтобы просить у властей разъяснения. Мне необходимо знать, имею ли я как близкий родственник военного право на пособие?

— Верьте им больше, этим прохвостам, верьте! — воскликнула Казимира. — Здорово они мне помогли, проклятые!

Однако старик стоял на своем:

— Здесь, с вашего позволения, вопрос особый. Существует специальный закон, согласно которому семьям, оставшимся без кормильца, когда сына забирают в армию, должны выплачивать пособие. Я вдовец, к тому же почти нетрудоспособный; если у меня поздно родился сын, это никого не касается. Закон есть закон, ему надо подчиняться.

Они шли напрямик, никуда не сворачивая, через мирно дремлющие поля. Временами в теплой, душной ночи раздавался хруст соломы под ногами животного или птичий крик; из болот, что неподалеку от рисовых полей, доносилось кваканье лягушек.

— Я иду в Поселок разузнать о пособии, — без конца твердил Анибал. — И коли они не смогут дать мне ответ, обращусь в Серкал Ново. Да, я и туда доберусь, и доберусь непременно. Как знать, может, по дороге и работенка подвернется.

— Какая там работенка при теперешнем недороде и голоде!

— Всякое в жизни бывает, соседка. Иной раз то, чего не хватает в одном месте, с избытком встречается в другом. Но я вам уже сказал, что конечная цель моего пути — Серкал Ново. Я заявлюсь туда и пристану к ним с пожом к горлу. Когда человек, подобно мне, отдает родине единственного сына, он заслуживает вознаграждения.

Старую Казимиру раздражали подобные разглагольствования. Она никак не могла взять в толк, на какое вознаграждение рассчитывает Анибал, и недоуменно спрашивала себя, что случилось бы с армией, если бы все семьи, имеющие сыновей на военной службе, начали бы вдруг требовать компенсации.

— Это совсем иное дело, — упорствовал старик. — В моем случае речь идет не о милости, а о материальной поддержке. Разбирается моя просьба, выносятся решение комиссии, и — одно из двух: либо парень возвращается домой, либо мне назначают ежемесячное пособие. — И тут же шепотом добавлял: — Конечно, его не отпустят, я знаю. Такие парни, как мой Абилио, в любом полку нарасхват...

Всю дорогу Анибал не уставал повторять, как надлежало бы по справедливости обращаться с солдатами. Поскольку воин постоянно жертвует жизнью ради блага отчизны, следовало бы считать его желанным гостем всего народа и всей страны независимо от чина и рода войск. А значит, вопрос о пособиях семьям неимущих солдат должен решаться просто: офицеры представляют начальству рапорт, и дело с концом. Они-то уж непременно войдут в его, Анибала, положение — в свое время он был одним из самых работающих крестьян в Симадесе, а теперь остался один как перст, без сына. Анибал уверял, что существует некий старинный закон, разумеется еще действующий, ибо законы в армии, даже очень старые, сохраняются вечно, пусть к ним и добавляют из года в год новые, современные.

Эти законы продиктованы здравым смыслом и потому никогда не отомрут. По сей день мы пользуемся многими старыми декретами. И непонятно, чему тут удивляться.

В одном из таких декретов (или законов, все едино) должно обязательно упоминаться о денежном вспомо-

ществовании близким военнослужащих, в прежние века португальцы без всякого сомнения издали такой декрет, когда государство нуждалось в многочисленном войске, чтобы открывать новые земли и вести борьбу с маврами.

— Только этим можно объяснить,— заключил Анибал,— пыл и самоотверженность, с которыми сражался тогда народ, а кому это не известно. «Впрочем, хоть и известно, а все равно достойно удивления: стоит только вспомнить, сколько убитых оставалось на поле брани после каждого побоища,— продолжал размышлять Анибал.— Но еще удивительнее то, что я нигде не читал о законе и тем не менее убежден в его существовании. Убежден? Нет, просто мне кажутся вескими основания для подобного закона, а их я вижу в неукротимом пылу сражающихся солдат...»

Двое пожилых людей брели по степи, иногда им вслед несло уханье совы или стрекот кузнечиков, кишевших в траве. Они шагали и шагали, пока наконец не вышли на шоссе, недалеко от Поселка. Здесь картина неожиданно изменилась. У первого же поворота им повстречался конный патруль, впереди они заметили джип, до отказа набитый жандармами в стальных касках и с пулеметами.

— Ого-го! — Анибал коснулся руки Казимиры.

С этого момента они не обменялись ни единым словом. Едва им чудился вдалеке шум мотора, они вздрагивали, оборачивались назад, но все же продолжали свой путь к Поселку.

Казимпра и Анибал даже не переглядывались, они не отрывали глаз от дороги, залитой лунным сиянием. Сопровождаемые звуком собственных шагов, отчетливо раздававшихся в молчании ночи, неподвижной, без малейшего дуновения ветерка, чужие друг другу и тем не менее тесно связанные общей судьбой, они напоминали уныло бредущую по жизни немолодую супружескую чету, которой уже нечего таить друг от друга, но и говорить тоже не о чем.

Внезапно мимо них на страшной скорости пронеслась черная машина. Она исчезла так же неожиданно, как и возникла. Казимпра прижала руки к груди:

— Боже милостивый!

Завернув за поворот, они не на шутку испугались.

Черный автомобиль стоял всего лишь в сотне метров от них. Непонятно почему, оба старика оторопели. Смутная тревога сжала им сердце, затруднила шаг. Они продолжали идти вперед все более медленно и робко, постепенно все более отчетливо различая то, что происходило у обочины. Там стоял мотоциклист с раскрытым чемоданом, а человек из автомобиля рассматривал его содержимое. У этого не известно откуда взявшегося молодчика в руках был карманный фонарик, и, склонившись над чемоданом, он направлял на него сноп света, перетряхивая то, что показывал владельцу. Вероятно, полицейский. Анибал снова замедлил шаги. Или таможенный инспектор?

Кто бы он ни был, субъект с фонарем недолго возился с чемоданом. Черный автомобиль рванулся вперед, и мотоциклист в свою очередь тоже начал яростно нажимать на педали, пытаясь завести мотор.

Подойдя ближе, старики из Симадаса догадались по железному ящику, укрепленному на заднем колесе мотоцикла, что хозяин мотоцикла — часовщик, золотых дел мастер из Поселка, собравшийся в очередную поездку по деревням. Они решили поздороваться с ним и уже направились к нему через дорогу, как вдруг мотоцикл с неистовым грохотом сорвался с места, и часовщик на полном ходу унесся вдаль, прочь от Поселка.

— Ну и дела! — изумилась старая Казимира. — Видали, кум, он даже не признал нас.

Анибал не промолвил в ответ ни слова. Он обернулся назад как зачарованный, провожая взглядом бешено мчащегося часовщика-ювелира. Что же могло находиться в железном ящике, кроме таблиц пробы золота, щипчиков, весов и прочих деликатных приборов золотых дел мастера? Конечно, ничего больше. Правда, вполне вероятно, что этот уважаемый человек, разъезжая из села в село, сообщал новости, о которых газеты предпочитают умалчивать.

— Превосходно, великолепно, — пробормотал Анибал, словно прощаясь с ювелиром.

Но того уж и след простыл. Он устремился в ночь, будто увлекаемый несметными полчищами дьяволов, пмчался куда-то (куда?), унося с собой свою тайну, верхом на мотоцикле, извергающем огонь и дым.

— Поторапливайтесь, сосед...

Старуха не тратила времени даром. Она брела по направлению к Поселку, и ей то и дело мерещился вой сирены черного автомобиля.

IX

Черный автомобиль с воем промчался по улицам Поселка. Куривший в камере заключенный вскочил с нар и вцепился руками в оконную решетку, но уже ничего не увидел; поднявшийся спозаранку булочник замер на мгновение, вынул руки из квашни, где он замешивал дневную порцию хлеба; жандарм, прилежно занимавшийся в спальне полицейского участка, спрятал в ящик стола тетрадь и чернильницу и подбежал к окну. Он немного приоткрыл ставни, однако узкой щели оказалось достаточно, чтобы Флорипес успела разглядеть из-за его плеча двух мужчин, выходящих из черного фольксвагена — они были прикованы друг к другу наручниками, — и толстяка, сидевшего за рулем.

— Типе ты, — цыкнул на девушку жандарм и отпихнул ее в глубь комнаты. Он помедлил еще несколько мгновений, разглядывая вновь прибывших, потом стремительно повернулся и снова сел за сколоченный из сосновых досок стол, прислушиваясь к тому, что делается вокруг.

В кабинете Леандро послышался шум: двигали стулья, обменивались приветствиями, кто-то печатал на машинке, крутили телефонный диск, пытались преодолеть ночное расстояние. Внезапно раздался крик сержанта:

— Привести сюда заключенную!

Услышав приказ Леандро, Флорипес вздрогнула, как от удара бичом. Мурашки побежали у нее по спине, и она сразу ощутила тупую, ноющую боль в животе, противную, растекающуюся по всему телу слабость. «Это от страха», — решила она. Девушка почувствовала, что жандарм положил ей на плечо руку, вялую и безвольную; она не напоминала когтистую лапу палача, но и дружеской поддержки в ней не ощущалось; скорее

всего, то был почти символический жест тюремщика, готовящегося расстаться со своей жертвой.

Флорипес сняла с плеча его руку. И босиком, на ходу приводя в порядок волосы, направилась к двери.

— Повернись лицом к стене, — скомандовал в коридоре чей-то голос, и тут она заметила скованных наручниками пассажиров черного фольксвагена, один из них отдавал приказание другому. Она проскользнула мимо этих фигур, в полумраке прижавшихся к стене, но ей не удалось оглянуться на них еще раз. Жандарм толкнул дверь кабинета Леандро.

Внутри находился сержант, а рядом с ним толстяк в меховой куртке и баскском берете; как только Флорипес вошла, он впился в нее глазами. Толстяк кружил около нее, мерил взглядом с головы до пят, точно оценивал скотину на ярмарке.

Сержант Леандро разложил на стекле письменного стола с полдюжины фотографий.

— Ну-ка, красавица, ответь нам, знаешь ли ты кого-нибудь из этих субъектов?

Не успел он задать вопрос, как толстяк в баскском берете подскочил к столу, чтобы видеть реакцию арестантки, когда она, один за другим, будет рассматривать снимки. Лицо его казалось усталым и сонным, но, несмотря на явное утомление, сосредоточенным. Откинувшись на спинку стула, сержант наслаждался спектаклем. Едва Флорипес окончила разглядывать фотографии, он ухмыльнулся:

— Разумеется, ты никого не знаешь?

— Да, это так, сеньор.

— Ничего иного я и не ожидал. Память у тебя, у бедняжки, просто никуда не годится. Скверная память, ведь правда? — Леандро повернулся к толстяку: — Рыбы мало ела, понимаете? А жаль. Даже не верится, что такая молоденькая девушка может быть столь забывчивой. Разве тебе никогда не давали дома рыбы, малышка?

Он говорил с ней терпеливым тоном обеспокоенного здоровьем дочери отца, а сам не переставал пристально глядеть на нее. Даже умолкая, не сводил с нее глаз.

Толстяк достал из кармана куртки бумажник. Неторопливо, словно желая оттянуть время, он принялся

что-то разыскивать среди множества бумаг и даже теперь своими ухватками живо напоминал торговца скотом: перелистывая документы, он сляпывал палец и медленно шевелил губами, читая ту или иную запись. Внимательный, даже озабоченный вид, с каким он просматривал этот ворох, был точь-в-точь таким же, как у ярмарочных торгашей, когда они открывают свои разбухшие бумажники, чтобы добыть из их недр накладную, банковый билет или рекомендацию — словом, все, что поможет им заключить выгодную сделку.

— Продолжайте, продолжайте, — проговорил толстяк, видя, что допрос заключенной прервался по его вине.

Леандро обратился к девушке:

— Ну так как же?

Именно в этот момент толстяк в меховой куртке нашел наконец то, что искал, еще одну фотокарточку. С обычной своей медлительностью он склонился над столом и положил ее рядом с другими. Сержант, не давая Флорипес опомниться, вновь задал ей все тот же вопрос:

— А его ты тоже не знаешь?

Та отрицательно покачала головой.

— Верно я определил, — опять принялся за свое Леандро. — Ты ешь мало рыбы, и вот результат. Но теперь ты будешь просить ее за обедом, договорились? Впрочем, а любишь ли ты рыбу?

— Я пойду прилягу на минутку, — заявил человек в берете и меховой куртке. Голос у него был хриплый, как у пьяницы. Он сгреб в кучу все фотографии и, не выпуская из поля зрения Флорипес, сирятал их в конверт. — Где я могу расположиться?

Леандро мигом вскочил.

— Дверь в конце коридора. Я провожу вас, если позволите...

Выйдя из кабинета, они вполголоса обменялись мнениями. Речь шла об арестантах различных категорий и о том, что неосмотрительно содержать их в общей камере, какие бы обстоятельства к тому ни вынуждали; толстяк уверял, что это его личное мнение, что он никоим образом не желает вмешиваться в дела Национальной гвардии.

— Любое решение вашего начальника по этому поводу будет справедливо, — заключил он.

Сержант Леандро возвратился в кабинет. Он почесывался и зевал от скуки и усталости.

— Ах-ха-ха... Вечно с вами одни хлопоты... — Он принялся приводить в порядок документы — отчеты, приказы, судебные постановления, а сам между тем излагал свои взгляды на жизнь и давал советы девушке из Симадаса. — Вмешиваетесь в сомнительные истории, суете нос не в свое дело. В общем, портите себе жизнь, а кому это надо, я спрашиваю? Ты можешь мне объяснить, малышка? Молчишь? Ну так я тебе отвечу: всему виной те глупости, которыми вам морочат голову. Всему виной эти окающие подстрекатели, что разгуливают на свободе. Ты знаешь, кто такие подстрекатели?

— Нет, сеньор, я их никогда не видела...

— Ты можешь поклясться? Нет, лучше не старайся попусту, я не хочу, чтобы ты давала лживые клятвы. Мне лишь хотелось бы понять, что вынуждает тебя лгать? Разве ты не видишь, что это может тебе повредить?

Флорипес глубоко вздохнула, призывая на помощь все свое мужество.

— Но я никому не причинила зла, господин сержант. И меня не мучают угрызения совести, потому что я не совершила ничего дурного.

— Нет, совершила, и попридержи-ка язык, не перебивай старших. Ты пыталась обмануть меня, сказав, что тебе незнакомы люди на фотографиях.

— Я?! Обмануть вас?

— Да, ты, а то кто же! — повысил голос сержант, словно возмущенный до глубины души. И неожиданно ласково добавил: — Ну ладно, у нас еще есть время. Завтра тебя переведут в тюрьму, и мы увидим, пойдет ли тебе это на пользу.

Леандро бросился к телефону. И пока он набирал нужный номер, и потом, когда со скучающим видом разглядывал потолок, ожидая, скоро ли его соединят, он поучал Флорипес:

— Никогда не угадаешь заранее, что с тобой произойдет. Сегодня мы, а завтра лиссабонская полиция займется восстановлением твоей слабой памяти. Как бы

то ни было, сейчас ты отправишься в кутузку. Хотя, — небрежно уронил он, — ты не принадлежишь к числу обычных арестантов.

Х

— Приготовься к отправке, — сказал человек, к которому наручниками был прикован арестант. — Сделай свои дела, потому что до самого Лиссабона тебе не представится такой возможности.

И когда на рассвете их привезли в Поселок, он снова предупредил:

— Если тебе надо, говори сейчас.

— Только по малой нужде, — чуть слышно отозвался арестант.

Черный фольксваген, как мы уже знаем, остановился перед отделением Национальной гвардии. Толстяк сопровождающий вошел в дом, а двое скованных наручниками остались на улице около машины. Один из них с трудом двигался и молча озирался по сторонам.

— Ну, давай прямо здесь.

Пленник заколебался, он искал более уединенное место, какое-нибудь укрытие, например угол дома.

— Живей, живей! — торопил первый. — В это время все еще спят.

И, глядя, как заключенный стоит посреди улицы, расставив ноги, и шумная пеющая струя стекает на мостовую, он вспомнил о лошадях.

— Вот и порядок, приятель. Не хочешь ли еще чего-нибудь?

— Пить, — попросил человек.

В спальне полицейского участка он выпил залпом три ковша воды, которые подал ему молодой солдат. Его освободили от наручников, а потом сержант Леандро привел трех новобранцев, чтобы и они запомнили преступника. Пока арестованный утолял жажду, полицейский, крепко держа его за запястье, наблюдал, как тот жадно глотает воду, и снова не мог не вспомнить животных, которые удовлетворяют свои естественные потребности так же самозабвенно.

— Ну и силен же ты, старина! Вливаешь в брюхо больше воды, чем иная лошадь.

Улыбка столичного жандарма и его манера говорить были совсем юношескими, да и лицо гладкое, как у мальчишки. Зато ногти были тщательно отполированы, он носил перстень с печаткой и замшевый жилет. Этот юный полицейский, лощеный горожанин (судебный следователь, как обычно именуют себя подобные личности на том основании, что занимаются политическими делами), являлся полной противоположностью задержанному — низкорослому крестьянину, иссушенному солнцем.

— Ах как хорошо! — с облегчением вздохнул жандарм, швыряя наручники на кровать. — Пусть надевают кольца новобрачные. А мы теперь в разводе.

Находящийся в спальне солдат улыбнулся и, все еще продолжая улыбаться, взглянул на крестьянина. Тот казался измученным, отупевшим от долгого бодрствования. Он растирал затекшее запястье, пошатываясь из стороны в сторону, обутый в огромные грубые башмаки, чересчур тяжелые для его тщедушного тела. Башмаки эти напоминали молодому солдату глыбы цемента, колодки или железные сапоги для пыток — что угодно, только не обычную обувь.

Несколько часов на ногах, бессонная ночь, потом другая (а сколько их еще предстоит?), и арестант начинает корчиться от боли; веки его смыкаются, точно налитые свинцом; ноги, стиснутые железными сапогами или глыбами цемента, распухают и сплошь покрываются язвами. Потому что кровь плохо циркулирует и застаивается в нижних конечностях. Они становятся страшно чувствительными; кажется, что внутри их что-то растет, ошетиливается колючками, и шипы эти, не дай бог, вот-вот прорвут кожу, — тогда и начинаются галлюцинации. Те самые галлюцинации, о которых столько рассказывают солдаты Национальной гвардии, некогда служившие в Алжубе, Кашиасе или других тюрьмах для политзаключенных (служил там и Леандрю, тогда еще капрал). Кошмарные маленькие призраки! Говорят, сначала мерещатся на полу какие-то точки, простые безобидные пятнышки, рассеянные тут и там, но вот они превращаются в насекомых, тараканов или жуков-скарабеев и, взбираясь по ногам, бегают по

всему телу, копошатся, так что узники подчас теряют сознание.

И молодой жандарм, певзирая на свой мундир, нередко ощущал неловкость и беспокойство в этих стенах, понемногу он понял, почему здесь такой тусклый свет, такая тишина и так душно. Он не осмеливался произнести хотя бы слово, не смел (должно быть, мешала совесть) посмотреть в лицо крестьянину, а между тем чувствовал себя его тайным сообщником, словно и он сам находился во власти судебного следователя из Лиссабона. Он пробормотал совсем тихо: «Живой труп» — и изо всех сил старался не замечать больше этого призрака и его мучений.

— Можно у вас раздобыть кусок пеньковой веревки?

Это спросил столичный полицейский. Внимание его полностью было поглощено потолочной балкой, он пристально разглядывал ее, производя в уме какие-то расчеты. Потом попросил принести моток бечевки, примерно метра на четыре-пять. Ему дали совсем новый моток, но он лишь досадливо поморщился. Другая веревка тоже не понравилась: слишком толстая. Наконец, он удовлетворился обрывками шпагата, каким пользуются туристы, разбивая палатки.

— Вот это подойдет.

Он связал куски шпагата и, когда получил нужную длину, влез на стул и закрепил шпагат на перекладине потолка.

— Если вы собрались вешаться, то у нас отыщется и более прочная веревка, — пошутил солдат, заинтригованный этими непонятными приготовлениями.

Неожиданно для себя он вдруг с улыбкой подмигнул тщедушному крестьянину. Но глаза несчастного застигла туман. Он моргал, щурился, потирал заястье и все раскачивался взад и вперед. Беглого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что это поденщик, один из тех, что артелями бродят по стране в поисках работы, — челка на лбу, короткие усики, жилет и рубаха из полосатого коленкора. Чем же он занимается? Пахарь? Конюх? И откуда его привезли? В какой тюрьме содержали раньше? Сколько ночей он провел без сна в этих ужасных ботинках? И молодой солдат спросил:

— Откуда этот человек?

— Откуда? — переспросил полицейский, увлеченный своим занятием. Он прыгнул на землю. — Изда-лека. Это залетная птичка, но на сей раз примехонько угодила в силки. Так я говорю, товарищ?

Он подергал веревку, проверяя ее прочность, словно ставил цирковой шатер или готовился к сногсшибательному трюку.

— О'кей. Спокойно, товарищ. Все идет как по маслу. — Дернул еще раз: — Пока это лишь проверка.

Он хотел убедиться, что крепко привязал веревку к потолочной балке и что она выдержит некоторую тяжесть, правда не очень значительную. Потом, взяв наручники, протянул их заключенному:

— На какую руку предпочитаешь надеть?

Крестьянин провел языком по черным запекшимся губам. Он не произнес в ответ ни слова, даже не вздохнул. Лишь низко опустил голову.

— Ладно, давай сюда эту, — решил полицейский, схватив его за правое запястье. — Левая опаснее. Вдруг у тебя сердце не выдержит, возись с тобой потом.

Ну, хватит прохлаждаться. Он продел руку пленника в кольцо от наручников, а второе кольцо прикрепил к бечевке, и крестьянин остался стоять с поднятой рукой, словно подвешенный к балке. Жандарм отступил на шаг, чтобы полюбоваться своей работой. Лучше некуда!

— О'кей, смотри в оба, не вздумай уснуть, а то веревка лопнет, и ты шлепнешься мордой об пол. — И приезжий жандарм обратился к местному: — Теперь вам понятно, почему мне не годилась слишком надежная веревка?

Он снял куртку и тщательно сложил ее. Потом сел на нары, причесался перед карманным зеркальцем и, несколько раз оглядев свою физиономию, остался доволен, затем вынул маникюрные ножницы из дорожного несессера и принялся подравнивать ногти. Это действительно был щеголь полицейский, следовательно из столицы с утонченными манерами и правильным произношением. Он ослабил узел галстука, собираясь прилечь немного отдохнуть, ведь крестьяне могут часами бороться с усталостью. Они раскачиваются из стороны в сто-

рону, мигают — пример перед глазами, — однако держатся стойко. Окончательно выбившись из сил, они дремлют несколько секунд, а когда просыпаются, им кажется, что они проспали несколько часов. Они спят стоя, едят стоя и мочатся стоя. Как лошади.

— Ах-ах-ах, бедняжка. Не будь ты столь упрямым, тебе не пришлось бы так солоно.

Солдат снова уселся на свое место за столом. Он достал тетрадь, раскрыл ее. Однако, не прочтя и страницы, отложил в сторону, устремив неподвижный взгляд в пустоту.

— Он работал в артели сезонников? — спросил солдат таким робким голосом, что и сам с трудом его узнал.

Жандарм, который все еще наводил лоск, ухитрился тем не менее наблюдать за происходящим вокруг него. Он расслышал тихий вопрос солдата и ответил, что крестьянин этот прежде трудился на разработках пробкового дуба, впрочем, не известно, не занимался ли он там еще и менее невинными делами.

— Ты догадываешься, что я имею в виду? Не так ли, товарищ?

Узник молчал, молчал и молодой солдат, держа перед собой раскрытую тетрадь. Он казался безмерно удивленным. Другими делами? Но какими? Неужели подстрекательством?

— Пока ничего определенного нельзя сказать, он не извоит с нами разговаривать, — продолжал полицейский рассеянно, ибо в данную минуту его больше всего на свете интересовали собственные ногти и онемевшая рука, на которой были надеты наручники. Он ощупывал ее, разминал, пока его внезапно не осенила остроумная мысль. — Послушай, старина, — он расхохотался, — ты долго имел дело с деревьями и, верно, сам одеревенел? Чего ж лучше, мой милый, теперь тебя ничем не прошибешь...

Однако, не договорив, он принял серьезный вид, почти сожалел о вырвавшейся у него фразе.

— Да, — продолжал он, как бы желая исправить допущенный промах, — этот деревянный товарищ не любит болтать. Что ж, наберемся терпения. Каждому свое, так кажется?

Жандарм раздумал ложиться и стал рассказывать по

комнате. В одной рубашке, без пиджака, с кобурой у пояса, он находился в непрерывном движении, стараясь не поддаваться сну и все время разговаривая то с пленником, то с солдатом, то с собой. Вот он закурил. Протянул солдату пачку сигарет:

— Берите.

— Спасибо, не курю.

— И правильно делаете. Этот тип должен был бы последовать вашему примеру.

— Почему? Разве он много курит? — Молодой солдат окинул крестьянина задумчивым взглядом.

— Не знаю, много ли, но от дыма, который он выпускает, у меня голова идет кругом.

— Однако курильщики никогда не беспокоит чужой дым, — снова заговорил солдат, опустив глаза. — По крайней мере так утверждают. — Ему было не по себе, вероятно, оттого, что он говорил об арестованном так, словно его не было в комнате.

Полицейский вдруг почувствовал страшную усталость. Пропели первые петухи, значит, день и ночь уже повстречались за холодной линией горизонта и наступило особенно тяжелое время для тех, кто вынужден не спать. Стража и заключенные, пусть даже содержащиеся в камерах, где никогда не гаснет электрический свет, всегда чувствуют этот момент, и для столичного гостя он тоже не остался незамеченным. Потому он и решил не садиться на раскладушку, как ему хотелось, а старался преодолеть сонливость, рассказывая молодому солдату разные истории.

Для начала он поведал о том, как угощал крестьянина сигаретами (если на тебе наручники не так-то просто свернуть самокрутку), пока они двое суток ехали чуть ли не через всю страну, он и его пленник, словно тень следующий всюду за ним.

— Можете себе представить, мы едем от самой Феррейры.

— Значит, он из Феррейры! — воскликнул солдат, снова взглянув на заключенного.

— Хуже, он из Алгарвы. Но когда мы окажемся в Лиссабоне, он нам подробно объяснит, почему в день восстания он оказался в Феррейре и что там делал. Разъяснишь или не разъяснишь, любезный?

Не успел он договорить, в комнату, недовольно покачивая головой, ввалился толстяк, огорченный только что услышанной новостью.

— Нет, вы только подумайте: они собираются объединить эту братию с обычными арестантами!

— Отлично,— заметил полицейский.— Дело кончится тем, что из тюрьмы выйдет больше политических, чем туда засадили.

Толстяк плюхнулся на кровать.

— Вероятно, у них не хватает свободного помещения... Но нас это не касается. Как только мы получим по телефону приказ, мы не мешкая уберемся отсюда.

— А этот голубчик?

— Этот голубчик? — повторил толстый агент, растянувшись на постели и уставившись в потолок.— Он наш, и мы захватим его с собой. Так что готовьтесь. Я больше не собираюсь сидеть за рулем.

Он так и завалился на раскладушку — в меховой куртке и сапогах и даже не снял с головы берета.

— Вечно одно и то же,— пожаловался жандарм из Лиссабона, продолжая шагать из угла в угол. Он приблизился к арестованному, фамильярно похлопал его по плечу: — Сама судьба связала нас друг с другом. Ты ездил со мной, мочишься со мной, куришь мои сигареты... Чего ж тебе еще надо, старина?

Вот тут-то и появилась Флорипес. Выйдя из кабинета Леандро, она вдруг увидела прикованного к потолочной балке крестьянина; он пошатывался, будто окутанный густым туманом, щеки его покрывала многодневная щетина, опухшие от бессонницы глаза походили на узкие щелки. Девушка остолбенела. Этого человека несколько минут назад она видела на одной из фотографий. Казалось, рукой, воздетой вверх, он посылал кому-то далекому, невидимому отсюда условленный знак.

XI

А Серкал Ново?

Серкал Ново существует по-прежнему, охраняемый высокой стеной и вооруженными часовыми. И по-преж-

нему собаки и нищие роются в отбросах у дверей казармы в поисках пищи; прачки стирают грязное белье истосковавшихся по штатской жизни солдат; и разговорам о несчастной доле военнослужащих, разумеется, нет конца, достаточно вспомнить капрала Три-Шестнадцать, уроженца Алваро.

Кое-кого из новобранцев можно встретить в казарме, в гарнизонной лавке или просто разгуливающими по двору, но большинство из них проводят время на полигоне в ожидании приказа.

И вот раздается приказ:

— Батарея номер такой-то... Огонь!

«...по белому мулу», — мысленно добавляют рекруты.

Как объяснил Три-Шестнадцать, «По белому мулу — огонь» — всего-навсего поговорка, белый мул — никоим образом не мишень, не предмет, служащий целью для наводчиков орудий; зона обстрела, включающая самые отдаленные пустыри на стрельбище, нанесена на учебную карту пунктирами. Пройдет какой-то срок, и пулеметная очередь изрешетит все вокруг — на столько-то градусов восточнее мельницы, на столько-то метров правее ручья, к примеру; места эти, конечно, не увидишь отсюда невооруженным глазом, но оттого они не перестают реально существовать, ведь они отмечены на карте.

А карта, да будет вам известно, никогда не обманывает. Это все равно что распростертый на бумаге лик матушки Земли. Топографические знаки обозначают лес, голубые линии — реки, пусть пересохшие; существуют специальные обозначения для домов и для кладбищ, есть условные знаки, изображающие мосты, дороги, ведущие к отчему краю и к батареям на позициях. Даже ветер, даже изменения погоды находят свое отражение на карте в виде стрел, разбегающихся во всех направлениях, и цифр, которые командование заимствует из сводок. Так, если погода плохая, приказы одни, а если светит солнце, совсем другие, и карта уже расчерчивается по-иному.

Предположим, однако, что погода скверная, что идет дождь. Итак, идет дождь. Когда ливень хлещет как из ведра, солдаты в мокрых шинелях свинцового цвета сбиваются в кучу, прячутся друг за друга, ищут укры-

тия за артиллерийскими орудиями (вот солдаты у нас перед глазами, промокшие до костей, в свинцово-серых шинелях), а водитель залезает в кабину своего фургона и отсиживается там, мирно подремывая. Фургончик этот представляет собой крытую брезентом повозку, внутри нее находится сержант-корректировщик, контролирующий точность попадания. Так как повозка установлена в нескольких шагах от линии огня, туда частенько заглядывают офицеры, чтобы обсушиться. Они прибегают, запыхавшись, топают сапогами, счищая налипшую грязь, снимают каски.

— Этого еще не хватало, — раздраженно ворчат они.

Их двое, капитан, командир батареи, и лейтенант. Капитан говорит:

— Хорошо бы ветер не переменился.

Сержант внутри повозки свертывает свои таблицы. Оба офицера повернулись к нему спиной; стоя у дверей фургончика, они созерцают низвергающиеся с неба потоки воды. Сержант-корректировщик прислушивается к их беседе. Первый бормочет:

— Можно ли вести наблюдение с нашего КП при такой видимости?

Второй отвечает:

— Это не наша забота. Подобные проблемы нас не должны волновать. — И добавляет: — По счастью.

— Алло, Волк, алло, Волк... — Затерявшийся в шуме дождя голос радиста напоминает шипение пенной струи за кормой корабля, пробивающегося сквозь шторм. — Алло, Волк, алло, Волк...

— Вы только поглядите, — вздыхает командир батареи. — Кто бы мог предвидеть подобное?

— Не портите себе кровь, господин капитан. Американцы, я полагаю, опростоволосились куда больше, чем мы. Испытывать новые боеприпасы в эдакую непогоду не шутка.

— Надо думать. Но эти субчики похвалялись, что полностью освоили боеприпасы. Вы не слышали, что сказал вчера Галар?

— Кто?

— Да тот, бородач, капитан Галар или как его там?

— Ах, Галлахер.

— Не понял.

— Галлахер. Г-а-два-л-а-х-е-р. Что же он сказал, господин капитан?

— Будто бы за всю войну он не встречал снарядов, которые бы сравнились с этими.

— Ну еще бы! Они же сами их изготовили.

— Пусть так, пусть так, но все равно мы не должны забывать, что опыт у американцев большой.

Оба одновременно чувствуют приближение сержанта. Они догадываются об этом по тому, как прогибается пол повозки под ногами неуклюжего толстого детины, и тут же получают новое подтверждение, услышав у себя за спиной шумное прерывистое дыхание. Тем не менее офицеры даже не пошевелились. Они не двинулись с места, ибо это означало бы выйти под дождь.

— Более того,— продолжает капитан (и на сей раз голос его звучит так тихо, будто он поверяет ливню свои секреты),— мы не должны забывать, что война — это одно, а маневры совсем другое. Во время маневров ошибки гораздо больше бросаются в глаза.

Лейтенант соглашается:

— Разумеется, ведь у нас нет противника и некому их исправить.

Фраза врезается ему в память: «Во время маневров необходим противник» и т. д. Она слишком справедлива и блестяща по форме, чтобы остаться случайно высказанным мнением, такая фраза достойна выдающихся стратегов Вобана или дю Пика.

Нельзя не принять во внимание, что лейтенант молод и к тому же приятель старого или по крайней мере слышущего «старым» среди кадровых артиллеристов, равных ему по чину и положению, капитана. Лейтенант еще не нюхал пороху, не едал солдатской каши, и потому, бог знает, сколько нелепейшего честолюбия и мечтательности осталось в нем со времен учения, если по столь ничтожному поводу ему вздумалось тревожить славные тени талантливых военачальников Вобана и дю Пика, ссылаясь на операции которых пестрели учебники.

— Противник нам помогает,— бубнит он себе под нос,— отвечая так или иначе на наши атаки, противник выявляет наши ошибки. Не все, конечно, но некоторые.

— Алло, Волк... я Тигр. Раз, два, три, вас понял,

слышимость отличная. Слышимость отличная. Перехожу на прием. Прием.

Капитан чуть нагнулся к земле; в колеях, оставленных автомобильными шинами, стояла вода.

— И мягкий грунт, заметьте, к тому же. Нам еще придется менять наводку.

— Очень может быть, господин капитан.

— Может быть?! Да это так же точно, как дважды два четыре. Орудия уже завязли сантиметров на двадцать.

— А то и глубже, — неожиданно вставляет сержант. — Разрешите прикурить, господин капитан.

От сержанта-корректировщика несет казармой и супом из солдатского котла, его грузная расплывшаяся фигура почти вплотную придвинулась к офицерам, едва не касаясь их. Но ни командир батареи, ни его приятель лейтенант не подают вида, что замечают сержанта, слышат его голос и запахи, напоминающие о его присутствии. Мысли их там, за плотной пеленой дождя, они видят перед собой солдат, тесно прижавшихся друг к другу около пушек, непрерывающийся дождь и вязнущие в грязи колеса орудий. На двадцать или тридцать сантиметров или еще глубже — все равно придется заново проверять наводку.

— Черт побери, как все надоело!

Капитан, командир батареи, щелкает зажигалкой.

— Вы обратили внимание, как быстро мы заняли позиции? — Тон, которым произнесена эта фраза, и сами слова не оставляют сомнения в том, что они адресованы лейтенанту, и только лейтенанту. — За восемнадцать минут, самое большее.

— За семнадцать по хронометру.

— Даже за семнадцать. Просто великолепно! Говорят, Галлахер прямо-таки окосел от злости. Галлахер, ведь так?

— Точно так, господин капитан.

— Галлахер! Ну и имечко, язык сломаешь!

— А у его адъютанта фамилия еще чуднее. Алабама, представьте себе, Алабама Джек или Алабама Черт-Знает-Кто. Наверное, это прозвище. Алабама — название штата.

— Спасибо за информацию, — строго обрывает бол-

товню своего друга командир батареи. После минутного молчания он иронически смеется: — Сержант Алабама! Алабама! — «В сущности, — думает он, — это такое же название, как Морария или Сантарен, которые встречаются на каждом шагу». — Однажды у меня был денщик по прозвищу Малая Вода, — говорит он вслух.

— И еще у вас служил Драная Кошка, господин капитан. — Сержант снова пытается вмешаться в разговор.

— Да, — неохотно откликается капитан, — да. — И продолжает, глядя на лейтенанта: — Малая Вода — надо же такое придумать! Этот парень промышлял продажей морских водорослей, а собирать их можно только в часы отлива. Отсюда и прозвище... Забавно, не правда ли?

Товарищ его, молодой офицер, вежливо улыбается.

Отрезанные от внешнего мира, загнанные неистовым ливнем в укрытие, трое военных в фургончике словно три семени, ожидающие солнца. Время от времени до них доносятся обрывки фраз, мимо новозки поспешно проскальзывает будто тень какой-нибудь солдат. И хотя солдаты находятся всего в нескольких шагах от фургона, их силуэты и голоса кажутся смутными, будто поглощенными непроницаемым туманом.

— Раз, два, три... Раз, два, три, алло, Змея, алло, Змея...

Только эти слова звучат четко и достигают цели. Радист зовет Змею, Волка, Собаку, переходит на прием.

И позывные, подобно надоедливой занозе, вонзаются в монотонный шум дождя.

— Дай-то бог, чтобы снаряды не отсырели, — волнуется капитан.

Лейтенант смотрит на часы.

— Ума не приложу, как мы в такую погоду будем кормить солдат.

— И я тоже. Но сейчас меня больше беспокоят боеприпасы. наших артиллеристов мы, слава богу, знаем, и, даже если бы я не видел перекошенную от зависти физиономию Галлахера, я все равно бы сказал: у американцев, разумеется, денег куры не клюют, им ничего не стоит развязать войну и вообще вытворять все, что заблагорассудится, зато наши солдаты не чета ихним.

— Это вы точно подметили,— ввертывает сержант. Капитан и лейтенант с досадой вздыхают и переводят разговор на другую тему.

— Семнадцать минут — неплохой результат,— замечает первый.

— Еще бы! Это просто великолепно. И у нас здесь, и в любом другом месте,— поддакивает второй.

Лейтенант решает отрегулировать висящий у него на груди бинокль. Он наводит бинокль на небо, поднимает, опускает, однако, куда бы он его ни направлял, всюду перед лейтенантом серая стена дождя. Беспросветно-тусклое матовое стекло встает перед стеклами линз. А лейтенант все говорит и говорит, обращаясь к командиру или, быть может, к самому себе, чтобы развлечься:

— Да, уж в чем-нибудь другом, но в качестве их боеприпасов сомневаться не приходится. Снаряды просты в обращении, обладают огромной начальной скоростью полета, а главное, большим радиусом действия.

— Они просто идеальны для стремительных атак. Впрочем, потому их и применяли в Германии.

— И в Италии. Вы слышали, господин капитан, что рассказывал Галлахер?

— Правильно, в Монте Кассино. Я даже подозреваю, что почти весь заградительный огонь был создан с помощью этих снарядов.

— И в Нормандии тоже? — спрашивает лейтенант, все еще занятый биноклем.

— Конечно. В Нормандии, Австрии и, если мне не изменяет память, в районе Тихого океана. Или я что-то путаю?

Тут за их спинами раздается голос сержанта, какой-то сиротливый и задумчивый:

— Поговаривают, будто он сидел в концлагерях...

Лейтенант опускает бинокль и вопросительно смотрит на командира батареи; командир батареи в свою очередь смотрит на лейтенанта. И оба они одновременно оборачиваются.

— Где сидел?

— Да в концлагерях. Там он вроде бы и борodu себе отпустил.

— Борodu?

— Ну конечно,— подтверждает сержант,— наш американский капитан.

Он касается поднятыми руками крыши фургона, вид у него странный, у этого сержанта, стоящего у входа, словно фургон его прибыл издалека и не известно куда направляется, равнодушно пересекая пространство.

— Наш американский капитан,— бормочет командир батареи, вновь повернув лицо к дождю.— Наш американский капитан, чтоб его черти съели.

— Простите, как вы сказали? — переспрашивает лейтенант.

— Нет, ничего. Я все думаю о боеприпасах...

XII

И вот наконец солнце, прорвав грозовые тучи, осветило небо. Спала плотная пелена дождя, затянувшая небосвод, печаль исчезла с лица земли. На засохшем суку лесной паучок принялся ткать паутину, и серебряные нити засверкали, заискрились среди кустарника.

Ветер над полями гнал к югу дождевые облака. Словно хищный зверь, ливень набросился на солдат Серкал Ново и на незащищенную землю. Было видно, как он приближается, как растет на горизонте зловещая сизая туча, и потому всадников сержанта Леандро, рассеянных по степи, буря не захватила врасплох, они успели укрыться под ближайшими деревьями.

Тому, кто вроде патрульных ведет бродячую жизнь, не так-то трудно предугадать погоду. Вчерашние землепашцы, сыновья и братья землепашцев, жандармы Леандро многое постигли на собственном опыте и вдобавок унаследовали от отцов умение читать по облакам и звездам. Чуть приметный ветерок, слабое колыхание листвы — и крестьянин, упорно живущий в каждом из них, просыпается и приходит на помощь.

Поэтому дождь или гроза крайне редко застают их врасплох: вдвоем — патрульные обычно ездят парами — прячутся они под первым попавшимся деревом, плотно прижавшись к лошади, а бывает, спасаются от потоков воды, накрывшись одеялами, всегда притороченными к седлу.

Теперь, когда ливень прекратился, можно увидеть, как они выходят из укрытий, ведя лошадей под уздцы. Жандармы щурятся от солнца, от жаркого солнца, неожиданно выплывшего из-за туч; движутся они лениво, медленно, точно призраки из кошмарного сна, и с пакинутыми на плечи одеялами скорее напоминают бродячих цыган, чем солдат Национальной гвардии.

Вдалеке равнину пересекают два путника, но дозор сержанта Леандро не обращает на них внимания. Это крестьяне, поденщики они или нет, значения не имеет, все равно у всех у них сейчас одна цель — заработать на жизнь. Эти двое, подобно многим другим, бредут, согнувшись под бременем нужды, в поисках работы, но в поселках и деревнях — всюду их ожидает одна и та же картина: на залитой солнцем главной площади — безработные, у дверей домов молчаливые женщины, а вокруг кружат жандармские патрули.

Путешественники, молодой и старый, покинули Симадас около трех дней назад. Они сокращали путь, продираясь напрямик через заросли кустарников, и, пыленные, испачканные смолой, устраивались на привал в пересохших руслах ручьев, где и в самую нестерпимую жару под камнями сохраняется прохлада. Они выбегали на шоссе, боязливо обходя стороной остановки автобуса и стоянки служебного транспорта, и протягивали случайным прохожим дрозда, тощего зайца, все, чем удалось поживиться: «Купи дичь, дружище!»

На ночлег они располагались где попало. Иногда в сарае, иногда в хижине пастуха и, так как на дворе стоит лето, иной раз, за неимением лучшего, могут переночевать и под открытым небом, на траве, а то и на голой земле. Все зависит от того, какая погода стоит и где они находятся.

Молодого зовут Жоан Розарио Портела, или просто Жоан Портела. Он совсем лысый, вместо бровей у него два чахлых кустика волос пад жгучими, почти без ресниц глазами, в крови его — последние разгульных предков, получивших в свое время лошадиные дозы инъекций нитрата серебра, мышьяка и висмута. Пот непрерывно стекает с него ручьями, и потому Портела посит под беретом платок. В платке ему не так жарко и вроде бы полегче, однако пот, холодный и обильный,

какой бывает обычно у маляриков, быстро смачивает пропитавшийся дорожной пылью платок и, как только он подсыхает, становится ломким, точно высохшие свиные кишки.

Шагающий рядом с ним старик ни на что не жалует. Он такой тощий, такой поджарый, что во всем его теле, кажется, не отыщется и капли жира, которую могло бы вытопить солнце. Что значит потеть, ему неизвестно, что такое уставать — тем более. Вы заметили, что он идет чуть ссутулившись? Вполне возможно. Но гораздо важнее то, как он несет свое охотничье ружье — со взведенным курком, в полной боевой готовности. Но и это еще не все: взгляд его быстрых бусинок-глаз настороженно блестит из-под темных полей шляпы и проникает даже сквозь листву. В самый неожиданный момент он вдруг отыскивает свиные гнезда, обнаруживает кроличьи норы, следы молодых куропаток — словом, тысячи примет, напоминающих о еде. И даже пресноводным черепахам не удастся спастись от его рыщущего взора. Вот и сейчас у него в кармане лежит черепаха, завязанная в носовой платок.

— И вы станете ее есть?

— Нет, я припас ее для тебя.

— Вот гадость, — брезгливо роняет Портела. Он идет впереди старика, опираясь на палку. — Если бы в Лавре узнали об этом, нас бы подняли на смех.

Он принужденно хохочет и качает головой, словно угрожая товарищу:

— Нас побьют камнями, дядяшка Анибал.

Анибал — так зовут его друга. Он тоже из Симадаса. Это тот самый старик, что комментировал в трактире солдатские рассказы и возмущался поведением жандармов.

— Вполне возможно, — отвечает он. — Только прежде находились и такие, что передко жертвовали лучшим угрем из улова, чтобы поймать черепах у омута в Ромао.

— Черепах?

— Да, черепах, именно черепах, Жанико. Тех, чье мясо ты называешь гадостью. А ведь оно куда слаще и белее, чем курятина, поверь мне.

Жоан Портела кривит рот:

— С голодухи сожрешь что угодно, даже мышь. Кто ж в этом сомневается! Да только едва начался голод, сбегали даже мыши и прочая нечисть.

Старик пожимает плечами. Будь у него подходящее настроение, да если б дело того стоило, он бы не преминул доказать, что люди уже давно едят мышей и что в этом теперь нет ничего особенного. Тому, кто преодолел отвращение к подобной пище, не может, увы, принадлежать слава первооткрывателя. В рекламе какого-то яда, предназначенного для уничтожения грызунов в хлебных амбарах, он прочел, что в Китае во времена мандаринов бедняки утоляли голод, поедая мышей. («Интересно, каковы они на вкус? — недоверчиво спрашивал себя любопытный старик. — Если это полевые мыши, они хоть чистые. Но разве едят только полевки?») Теперь Анибалу вспомнился еще услышанный некогда от жителя Бенаvente рассказ о бесчисленных полчищах крыс, заполонивших улицы города во время наводнения. Старик сплюнул. Крысы несъедобны, мясо их ядовито. Крысинный укус хуже выстрела солью. Там, где зубы их вонзятся в кожу, рана никогда не заживет.

Но об этом, как и о многом другом, старый Анибал предпочитает умалчивать. Он идет мрачный, низко нагнув шляпу на лоб; ему все ясно — и ладно. Тем не менее стоит ему по едва уловимым признакам почуять дичь, как все воспоминания и случаи из истории в мгновение ока улетучиваются из его головы. Пальцы сами тянутся к курку, и легким, решительным шагом он направляется к зарослям кустарника.

— Тс-с, тише, — шепчет Анибал своему спутнику. — Тише.

Наступает ответственная минута. Анибал выслеживает дичь. Он разглядывает следы куропатки, прислушивается к хрусту ветвей, смотрит направо, налево... Словом, идет по следу.

Жоан Портела уже тут как тут, рядом со стариком; с занесенной для удара палкой он тоже готов к нападению на куропаток. А его товарищ, пристально глядяваясь в точки и стежки, оставленные птицей в пыли, бормочет:

— Тс-с, тише...

Не теряя времени даром, он исследует окрестности,

определяет силу и направление ветра, чтобы поточнее разгадать следы. По размерам и глубине птичьих следов он догадывается, что куропатки молоды, но по расстоянию между следами видит, что, несмотря на молодость, птицы уже достаточно сильны и могут пролететь большое расстояние.

— Теперь нам удастся настичь их лишь за оливковой рощицей,— говорит Портела. И, вытянув шею, издает несколько хриплых звуков, словно призывая кого-то: — Кок, кок, коро... кок, кок, коро...

Он старательно подражает голосу куропаток, но никто не откликается.

— Гм...— Старик определяет направление ветра.— Дай-то бог, чтобы я ошибся, но, сдастся мне, не скоро мы тут что-нибудь подстрелим.

— Вот и мне так кажется, дядя Анибал. В этих местах, верно, побывало много охотников, они и спугнули дичь, как я полагаю. Мы окончательно убедимся в этом, придя в Лавре.

XIII

Анибал закидывает ружье за плечо. Он, кажется, не очень-то поверил в слова товарища и на каждом шагу озирается по сторонам: ему всюду чудятся куропатки. Если в этих краях действительно так трудно подстрелить птицу, это верное доказательство тому, что она спасается бегством или что кто-то недавно здесь побывал. Кто-то — это охотники или голодающие крестьяне. Жоан Портела придерживается иного мнения. Он утверждает, будто бы в Лавре есть работа и именно потому дороги туда лишены всякой живности, так по крайней мере сказал ему повстречавшийся по пути батрак из Сантаны.

— Дело ясное, дядюшка Анибал. Коли мы и дальше будем прохладяться, мы встретимся с поденщиками, которых видели в Лавре.

— Мне думается, ты ошибаешься, Жапико. Кто тебе сказал, что дичь не была поднята в другом месте?

— Вздор. Я отлично различаю следы. Люди, прошедшие раньше нас, вспугнули куропаток. Втемяши-

лось вам в голову во что бы то ни стало попасть в Серкал Ново, вот и пришлось зря крюк давать. Отправься мы через Боа Фе, так давно бы уж были в Лавре.

— Кто тебе сказал, Жанико,— твердит свое старик,— что птица перебита не жителями Лавре?

— Жителями Лавре? Черт меня побери, если я хоть сколько-нибудь вас понимаю.

— Чего же тут непонятного, все очень просто. Как, по-твоему, могло случиться, что ветер переменялся, а? Так же могло случиться, что крестьяне из Лавре явились сюда поохотиться, и в этом случае...

— Что в этом случае?

— В случае если куропаток подняли местные батраки,— продолжает старик,— это означает, что в Лавре много безработных, не знающих, чем прокормить семью. Следовательно, тем, кто придет туда издалека, нечего и думать найти работу, вот оно как.

Портела на мгновение заколебался, потом решил не обращать внимания на болтовню старика. Разозлившись, он со всего маху ударяет палкой по вереску и, пыхтя как паровоз, устремляется по тропинке среди агав.

Анибал следует за ним, или, лучше сказать, за берегом и грязным платком, больше он ничего не видит за широкими листьями агавы. Однако и берет вскоре исчезает. Жоан как сквозь землю провалился. Наверное, упал в какую-нибудь капаву, вздыхает старик, отводя на всякий случай предохранитель.

Он не ошибся. Поросший агавами склон неожиданно кончается, и внизу на узкой тропке, пересекающей лошину, его поджидает Портела.

— Ну где вы там запропастились?

Анибал, стоя среди колючих агав, размышляет, как же ему быть дальше.

— Ладно,— он прыгает вниз и догоняет товарища,— согласен, мы идем в Лавре.

Обрадовавшись его решимости, Портела немешкая пускается в дорогу. Видимо, он побаивается, как бы старик не раздумал, как бы ему вновь не захотелось побывать у сына в казарме, а потому он снова обрушивается на Анибала, доказывая, что им удастся подзаработать в Лавре.

— Разве вы не слыхали рассказ батрака из Сантаны? Слыхали так же, как и я, дядюшка Анибал. А не обратили внимания, что он говорил об уборке риса? И даже, кроме уборки риса, еще есть пахота, вторичная пропашка, боронование, корчевка... Да мало ли еще что! Тот, кто любит работать, без дела сидеть не будет.

Их путь лежит по проселочной дороге, одной из тех в Алентежо, над которыми в летнюю жару облаком стоят пыль, поднимающаяся вверх, словно дым. Утренний ливень немного прибил пыль, но, едва солнце выглянуло на несколько часов, земля снова подсохла и опять обратилась в пыль. Жоан Портела проклинает в глубине души эту пыль и это солнце, потому что в горле у него першит и воспаленные глаза слезятся. Но ему все нипочем. Больной, наполовину охрипший, он не унимается:

— Руку даю на отсечение, в Лавре мы обязательно найдем работу.

Анибал покорно кивает в ответ:

— Так ведь договорились — идем в Лавре.

— В прошлом году на уборку риса они наняли более двухсот человек. А судя по тому, что рассказывал батрак из Сантаны, столько народу пока у них нет.

Старик долго слушает разглагольствования Жоана и в конце концов не выдерживает.

— Батрак из Сантаны, батрак из Сантаны, — уныло повторяет он.

— А чем он вам не по вкусу пришелся?

— Ох-ох...

— Ну чего вы охаете? И напрасно в каждом слове видите подвох. А по-моему, тот парень ни слова не выдумал.

— Ни слова? Ну и насмешил ты меня, Жанико. Неужели ты до сих пор не догадался, что ему просто хотелось отвязаться от нас? Неужели ты ничего не понял, Жанико? Неужели не сообразил, что он просто послал тебя куда подальше? Что в Сантане, как, впрочем, и повсюду, полно безработных, готовых трудиться за любую плату. Ты все еще этого не уразумел, бедняга?

— Хватит, — угрожающе шипит Портела.

— И вот ты плетешься в Лавре. И вот мы оба плетемся в Лавре, поверив рассказам какого-то дурака.

— Хватит, я сказал...

— Давно уже хватит. Погоди, вот придем в Лавре... А там то же самое, что в Саптане. Тебя пошлют искать работу в Лиссабон или еще дальше.

Портела кусает губы от злости. Он с яростью опирается на палку и, чтобы скрыть негодование, принимается напевать «Красную лилию», то и дело вставляя в текст собственные слова, весьма язвительные.

Тра-ля-ля-ля-ля...

Лишь только занялась прекрасная заря,
И кто заставляет меня быть таким идиотом.
Пастух из хижины своей выходит...

— Пой, пой, голубчик, в Лавре ты запоешь по-иному. И в Лавре, и в любом другом селении, где не нужны лишние рты.

Моя красная лилия, моя красная лилия.
Надо было все-таки немного пораскинуть умом...

— И мне тоже, — откликается старик. — Вот уж никак не думал, что выкину на старости лет такой фортель. Бродяжничать в мои годы!

Он оборачивается. Жоан Портела стоит посреди дороги, заслонив глаза рукой. Широко раскрытым ртом он судорожно глотает воздух.

— Что с тобой, Жанико?

В два прыжка Анибал очутился около него и, увидев, что друг задыхается и теряет сознание, не стал его трогать.

— Это от слабости, — ставит диагноз старик. — Мне приходилось видеть многих людей, страдающих от падучей, здесь я не ошибусь. Будь у меня в кармане хотя бы кусочек сыра или какая-нибудь другая еда, дрожь у парня мигом бы прекратилась. — Непроизвольным движением он поднес руку к карману, где лежала черепаха. — Нет, нельзя, Жанико питает к ним отвращение.

Тем временем Портела приходит в себя, отнимает от лица руки и все еще с закрытыми глазами ощупывает голову и тело, словно он всплыл на поверхность из мрачной бездны и ему необходимо удостовериться, что он цел и невредим. Он вздыхает полной грудью, выпрямляется, опираясь на палку.

Медленно, еле волоча ноги, Жоан Портела отправляется в путь. Он идет сгорбившись, оставляя на дороге глубокие борозды, но больше не погружает с яростью свою палку в пыль. Не ворчит. Не поет.

XIV

Жоан больше не ворчит, не поет, и вскоре путники останавливаются у дверей небольшой таверны, одиноко стоящей на краю равнины, в стороне от дорог. Они входят. Анибал заказывает жареную колбасу, велит подать вина.

— Вина с лимонадом, — уточняет он.

Портела же, едва заметив у входа деревянную скамью, так и повалился на нее. Он молча снял берет и остался в одном платке, облегающем голову на манер чепца. Затем вытянул поудобнее ноги, бессильно свесил руки и так, измученный и довольный, наслаждался покоем и прохладой, сидя перед корзиной с сушеными фигами.

Они съели колбасу, выпили вино, и Анибал с трактирщиком завели беседу о деревенской жизни и о местечке Симадасе, куда в последнюю неделю зачастили жандармы Национальной гвардии. Хозяин сказал:

— Вчера вечером вон тут, на скамье в углу, сидели два торговца из Сантаны. Если судить по тому, что они говорили, а главное по тому, о чем они умалчивали, приятель, безработица у нас в стране повсюду.

— Даже в Лавре? — спрашивает старик, покосившись на Жоана Портелу.

— Знаю, что безработица, а захватила она Лавре или нет, ручаться не могу.

— А Серкал Ново? — не унимается Анибал. — Там тоже кризис, как по-вашему?

Хозяин таверны удивлен. Серкал Ново — солдатский край. Какой там может быть кризис?

— Что вы имеете в виду? — недоумевает он.

— Ну... — Старый Анибал не может толком объяснить. Просто ему хочется узнать что-нибудь о Серкал Ново. Сын у него там служит, и потому он интересуется всем, что имеет хоть малейшее отношение к военному городку.

— Понимаю! — восклицает хозяин. — Значит, вы направляетесь в Серкал Ново?

Старик осторожно косится на Портелу, но тот как будто не следит за их разговором. Все его внимание поглощено пустынной степью, расплающейся до самого горизонта. Рот у парня вымазан жиром, и мухи преспокойно разгуливают по его лицу.

— Есть такое намерение, — понизив голос, признается Анибал и снова бросает на товарища настороженный взгляд. — Я всегда найду там поддержку, у меня же сын в солдатах.

— От военных поддержки не жди. За время службы в армии я ничего не видел, кроме неприятностей.

— Охотно верю, однако теперь положение изменилось.

— Как же, держи карман шире, двое суток карцера за песенку, — возражает трактирщик.

— За песенку?!

— Представьте себе! За невинную песенку. Про девушку и про капитана, слышали?

— Куда вы ведете девушку,

Скажите, сеньор ка-пи-тан?

— Забрал я ее у родителей,

Веду же в свой батальон...

— Слышал, конечно, слышал, — улыбнулся Анибал. — Это старинная песенка, сочиненная еще в те времена, когда женщины пускали в казармы.

— Женщин?!

Крайнее удивление, прозвучавшее в голосе хозяина, заставило старого крестьянина опомниться. Не всем известно, что творилось в армии в прежние времена, а ему совсем не хочется прослыть лжецом. Лучше отложить истории про женщин в казармах до другого раза.

— Ну... Я просто хочу сказать, что куплеты эти очень старые, что написаны они много лет назад.

— Старые или новые, только из-за них я схлопотал двое суток ареста. Офицеры заставили меня пропеть ее несколько раз, и — что поделаешь! — я пропел. Свольная песня... Каждому нашлось в ней место, никого не забыла: ни капитана, ни сержанта, ни полковника...

— Даже полковника?

— Ах, не впутывайте меня опять в историю! —
И трактирщик тихонько замурлыкал:

— Куда вы ведете девушку,
Скажите, сеньор пол-ков-ник,
— Забрал я ее у родителей,
Веду же в свой питомник...

— Что правда, то правда, настоящие питомники устраивали, — бормочет Анибал, снова вспоминая марки-танток, они-то, уж без сомнения, в старину были приписавы к полкам и скорее, чем кто-либо другой, оказывали солдатам помощь и в военное, и в мирное время, занимаясь починкой одежды, стряпней и — самое важное — напоминая им, что они мужчины. — Что правда, то правда, — как зачарованный твердит старик.

Портела хранит молчание. Ему ни до чего нет дела, больше всего на свете ему охота поспать, но, видя, что солнце уже опускается над степью — а путь им предстоял неблизкий, — он поднимается с лавки.

— Погоди, — останавливает его старик. — Надо захватить с собой немного сушеных фиг, заморить червячка по дороге. Отпустите мне, пожалуйста, на десять то-станов фиг, будьте так добры.

Как только со всем покопчено — с фигами, разгово-ром и денежными расчетами, Портела, поправив на го-лове платок и нацепив берет, снова торопит старика уже в дверях таверны:

— Пошли?

— Одну минуту. Я дам черепахе напиться.

XV

— Жанико, тебе знакома песенка о похищенной де-вушке?

. В ответ Портела не проропил ни звука; он молчал, встревоженный тем, что сумерки надвигаются так бы-стро. Он шел позади товарища, погруженный в свои мысли.

— Ты обратил внимание, как удивился трактирщик, когда услышал, что женщины прежде бывали в казар-

мах? Так вот, чтобы ты знал, Жанико: они назывались маркитантами. В былые времена и не такое случалось.

Внезапно он почувствовал, что в него кто-то вцепился. Обернувшись, он увидел Портелу, который пытался удержать его:

— Послушайте, дядюшка Анибал.

Старик остановился.

— Вы все еще не выбросили из головы мысли побывать в Серкалэ, и сдается мне, из-за этой вашей глупости мы здорово погорим. Погодите, дайте мне сказать. Представьте себе, что в Лавре мы находим работу. Что в таком случае вы станете делать?

Анибал задумчиво почесал затылок. Он размышлял, выгадывая время.

— Работу в Лавре? — повторил он, будто впервые в жизни слышал об этом, на самом же деле он все еще не придумал, что ответить Жоану. Вдруг он расхохотался прямо в лицо Портеле. — Работу в Лавре! Нет, слышали вы что-нибудь подобное?! Работу в Лавре!

Жоан Портела стиснул зубы.

— Дядюшка Анибал, дядюшка Анибал! Выполняйте наш уговор, а не то вам плохо придется.

— Уговор? Это какой такой уговор? — Голос старика был совершенно спокоен, лишь чуть приметная добродушно-лукавая усмешка сквозила в нем.

— Разрази меня гром! — завопил его спутник, в бешенстве топая ногами.

Старик повернулся к Жоану спиной:

— Замолчи, Жанико. Постыдился бы, лучше замолчи.

Портела распалялся еще пуще. Он отбросил в сторону палку, все отбросил и, сжав кулаки, загородил Анибалу дорогу.

— Вы приказываете мне замолчать? По какому праву вы приказываете мне замолчать? Отвечайте же, по какому праву?!

Уставившись в упор на изрытое морщинами лицо старика, он брызгал слюной, вне себя от ярости. Выкрикивал угрозу и плевал на землю, выкрикивал дружю и опять плевал, охваченный неистовством.

— По какому праву? — И плевал. — По какому праву, а?! — И плевал вновь.

Он тряс старика за грудь, испепеляя его взглядом. А Анибал лишь улыбался. Однако стоило посмотреть на его улыбку: она походила на глубокий порез, на зияющую ножевую рану.

«Замолчи!» — приказала Портеле эта улыбка, и жилистые кулаки вдруг обрушились на него, нанося удар за ударом.

— Убирайся в Лавре, убирайся на берега Тежо, убирайся хоть к черту в пекло, но не смей оскорблять меня. Я имею право на уважение, Жоан Портела! Я имею право на уважение, понимаешь?

Старик выпустил парня, тот стоял неподвижно, оцепенев от изумления, руки его безвольно повисли вдоль тела.

— Ну пошел, можешь отправляться на все четыре стороны. Убирайся с глаз долой, очень ты мне нужен!

Едва старик окончил свою тираду, Портела как подкошенный рухнул к его ногам. Он катался по земле, содрогаясь в конвульсиях, глаза вылезли из орбит, густая слюна текла изо рта. Дьяволы или бессильная ярость сотрясали это жалкое тело, и Анибал, опустившись на колени перед Жоаном, не в состоянии был их умирить. Что же теперь делать?

В самом деле, что он мог теперь сделать? Если говорить начистоту, ничего или почти ничего. Старик обмахивал Жоана шляпой, свободной рукой расстегивая ворот рубашки и ослабляя веревку, повязанную вместо пояса.

Вокруг — ни одной живой души. По обеим сторонам дороги расстилалась безлюдная пустыня. Негде было даже достать воды — хоть капельку, много и не требовалось; он слышал, что при некоторых припадках вода не лечит, а убивает. Поэтому старик продолжал махать шляпой, пытаясь усилить приток воздуха к легким больного, и наклонился над ним, заслоняя от солнца своим телом. После, когда парню станет чуть полегче, он перенесет его туда, где ему смогут оказать помощь. Вероятнее всего, в таверну.

«Нет, — рассудил он немного погодя. — Вздор, я ни за что на свете не доберусь до таверны с такой тяжелой ношей. И потом это всего-навсего обморок. От еды ли он приключился? Или от нервов? Или это послед-

ствия дурной болезни? Очень даже может быть, что и от болезни, отец его ужасно мучился, и, верно, болезнь эта передалась по наследству сыну».

Анибал еще ниже склонился над Портелой.

— Жанико,— позвал он тихонько, со страхом.

То был второй припадок за трое суток пути, и гораздо более серьезный, чем первый, не в его власти укротить демонов или бацилл сифилиса, что копошатся в беспомощном теле бедняги, и Анибал это знал. Все, что ему оставалось,— это поддерживать голову Портелы, чтобы тот не поранился, пока мечется в конвульсиях.

А Жоан Портела, лежа на спине, царапал ногтями лицо. Он бился в судорогах, словно схваченная посередине змея, вздымая облака пыли, но не двигаясь с места, и все извивался, извивался.

Понемногу яростные вспышки стали ослабевать и повторяться все реже. Наконец Портела с усилием поднялся и сел, открыв рот и бессмысленным взглядом уставившись на друга, который тоже смотрел на него, охваченный беспокойством.

Поражали терпение и покорность, с какими эти двое людей, здоровый и больной, с минуты на минуту ожидали нового приступа, который зрел в теле одного из них и против которого оба были бессильны. Весь напрягшись, будто прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри, Жоан Портела готовился перенести новый припадок, наказание за грехи отца, тихий и смиренный, точно жертва, отданная на милость неумолимого провидения. Так же как и Анибал.

Припадок начался мгновенно, и, когда старик подбежал к другу, было уже поздно. Весь скрючившись, Жоан с воем упал на землю и забился, содрогаясь в конвульсиях. На губах у него выступила пена, он дрожал, как от озноба. В безумной тревоге Анибал метнулся к нему. Он согревал Жоана своим дыханием, тер ему кисти рук так ожесточенно, что горели ладони.

— Жанико, Жанико...

Охваченный отчаянием, старый Анибал громко зывал о помощи, тщетно вглядываясь в пустынные поля. Ничего другого ему не оставалось. Он растирал измученное тело товарища, его ледяные виски, лоб, но больше ничего предпринять не мог. И не о человеке,

который вот-вот отойдет в вечность, он пекся, а о ребенке, заснувшем на обочине дороги.

Но внезапно Портела затих, открыл глаза, и, увидя это, старик облегченно вздохнул. Жоан медленно выпрямился, провел тыльной стороной ладони по лбу, потом откинул голову назад, весь устремившись к неподвижному предвечернему небу. Облака и свет — вот что привлекло его внимание после перенесенных мук. «Облака», — мелькнуло в затуманенном сознании, и что-то родилось в глубине души Жоана, что-то нежное и неясное, и тихо скатилось по лицу двумя каплями — слезинками. Он тут же вскочил на ноги.

— Здорово же меня прихватило!

Потом он сел, стараясь держаться прямо. Он больше не смотрел на небо, не шевелился. То был пробудившийся от векового сна призрак, собирающий все свое мужество, чтобы сразиться со степью. День угасал, лучи солнца на горизонте становились все длиннее и уже тянулись к белой луне, которая вскоре останется одна светить в ночи.

— Пошли, — пробормотал Портела, хватаясь за палку.

Старик бережно повязал ему платок, надел сверху берет. Потом отряхнул одежду, застегнул рубашку и сунул в карман все купленные в таверне сушеные фиги.

— Пожуй-ка их по дороге, Жанико. Отсюда до Лавре уж не так много осталось...

Он напомнил мать, впервые собирающую сына в школу.

XVI

Новый день занимался над полигоном, окутанным предутренней дымкой. Ключья тумана отделялись от земли, пар белыми клубами поднимался с тропинок и плыл ввысь к безмятежным облакам.

Прохожий, по той или иной причине очутившийся в тех местах, был бы несказанно изумлен, увидев, едва рассеется туман, пару внимательных глаз внизу, чуть ли не у своих ног. Да, да, пару глаз, две капельки жизни, перемещавшиеся в узкой расселине с медлительностью

сказочного чудовища. Глаза эти глядели на мир сквозь листву и принадлежали человеку, отдыхающему на лоне природы среди корней и личинок.

Теперь предположим, что прохожий этот пренсполнится любопытства (а также храбрости) и приблизится к расселине, где блестят глаза; тогда он увидит сначала два ряда мелких, как у крота, зубов, затем — толстые руки, затем — круглый живот, короткие ножки и, наконец, — две ступни, упирающиеся в пол землянки. Иными словами, одушевленное существо, издающее странные лающие звуки, непонятные для окружающих.

— You see, meo colonel? ¹

Это действительно был человек, рыжебородый ипо-странец в офицерском мундире. Цивилизованный человек, как и любой из нас, и потому он говорил и его слушали собеседники: два португальских офицера, полковник и лейтенант. Тут же находилась еще одна личность, но она не открывала рта и не прислушивалась к разговору. Она жевала резинку. Личность эта была чересчур длинной и сухопарой, и ее большое тело едва умещалось в землянке, а голова касалась потолка, свешиваясь вперед, точно у повешенного.

Итак, где-то на полигоне четверо военных укрылись под землей. Один взирал на мир божий, другой не переставал работать челюстями, жуя резинку, а двое остальных изучали карту.

— Good Gosh, — проворчал рыжебородый, тот, что озирает окрестности. — It's a real wonderful weather! ²

Склонившись над штабными картами, два офицера за его спиной обменивались мнениями. Один из них, лейтенант-переводчик, говорил:

— Капитан Галлахер настаивает на том, чтобы отменить корректирование огня. Он считает, что при такой погоде корректировка не нужна.

Второй, полковник, возмущался:

— Он должен прежде всего подумать о рикошетах. Переведите ему мои слова и напомните, что угол падения слишком мал.

— Еще раз напомнить?

¹ Вы видите, полковник (*искаж. англ.*).

² Черт возьми, вот уж поистине славная погода! (*англ.*)

— Делайте, что вам приказывают...
— Слушаюсь. Captain Gallagher, we think...¹
— О'кей, о'кей, — прервал его рыжебородый американец, продолжая изучать окрестности.

Опять потерпев поражение, португальские офицеры, почти касаясь друг друга, снова уткнулись в карту, на которой была изображена траектория полета снаряда — заранее продуманная и вычерченная смерть.

— Какая самоуверенность, — негодовал, понизив голос, полковник. — Мы уже шесть лет ведем стрельбу с этих позиций, и пате, является этот наглец и поучает нас.

— Он рассчитывает на надежность боеприпасов, вот где собака зарыта.

— А что толку от их надежности при таком незначительном угле падения?

Они тихонько переговаривались, водя пальцем по карте и делая вид, будто прилежно рассматривают ее. Над ними, почти на уровне потолка, челюсти нескладного верзилы все жевали и жевали *chewin'gum*².

— У него замашки плохого военачальника, — заметил лейтенант. — Ему ровным счетом наплевать, если снаряд сметет с лица земли полдюжины домов.

— Точно. Во время войны это простительно, но сейчас необходимо защищать от нелепых случайностей мирное население. Мы-то прекрасно знаем, по чьей земле ходим.

— Хуже всего, господин полковник, то, что мы понятия не имеем об их боеприпасах.

— Хуже всего, лейтенант, то, что на нас взвалили всю ответственность. Остальное ерунда. Позовите моего ординарца.

— Ординарец господина полковника!

— Я здесь.

В дверях появился солдат; вытянувшись, он отдал честь.

— Разрешите войти, господин полковник?

Ему дали папку с документами и бинокль и тут же забыли про него. Он так и сидел в углу, мрачный, маленький, в огромной стальной каске.

¹ Капитан Галлахер, мы полагаем... (англ.)

² Жевательная резинка (англ.).

— Sergeant, — американец с эспаньолкой заглянул в глубь землянки, — do you remember Sammy Myers and his damned curves? ¹ — Он с улыбкой обращался к дылде, жевавшему под самым потолком свою резинку.

Полковник тоже улыбнулся на всякий случай.

— Что он сказали? — переспросил он у лейтенанта.

— Да ничего особенного, упомянул о каком-то типе, у которого была мания вычерчивать траектории...

— Sammy Myers... Don't you remember? ²

— Please, — взмолился сержант, всем своим видом выражая отвращение. Бледный, не вынимая изо рта жвачки, он добавил с насмешливой учтивостью: — Will you please stop talkin about that fuggin' kike? Will you, captain? ³

— Что ответил сержант?

— Что не желает слышать об этом еврее. О том, с траекториями.

— А... — протянул полковник и подумал: «Прямо как дети».

Капитан Козлиная Бородка бросил на сержанта понимающий взгляд и захохотал. «Должно быть, это давняя история, фронтовая дружба», — заключил лейтенант, видя, что американский офицер, большой шутник, беспрестанно подтрунивает над адъютантом.

— Сержант...

Из угла, куда его запихнули с папкой документов, принадлежащих полковнику, и полевым биноклем, солдат-ординарец во все глаза глядел на чем-то недовольного американца, раздраженно жующего свою резинку над офицерскими головами. Солдат, зачарованный этой колоритной фигурой, разинул рот и с таким восхищением, не отрываясь, следил за янки, что через некоторое время, сам того не замечая, тоже заработал челюстями.

Его вывели из оцепенения крики американца с козлиной бородкой. Он призывал остальных, расположив-

¹ Сержант, вы помните Сэмми Маэрс и его проклятые кривые? (англ.)

² Сэмми Маэрс... Разве вы забыли? (англ.)

³ Пожалуйста, перестаньте говорить об этом вонючем еврее. Прошу вас, капитан (англ.).

шихся у входа на наблюдательный пункт, полюбоваться вместе с ним чем-то на полигоне.

— Look over there... look¹.

— Ах! — воскликнул полковник, глядя в щель, открывающую доступ в божий мир. — It is a пустельга. A bird². Объясните ему вы, лейтенант.

— It's... a hawk. A Portuguese hawk³.

— A hawk? Ястреб? — Галлахер скептически теребил рыжую бородку. По размеру, по форме крыльев он принял птицу за небольшого кондора. — Sure, — настойчиво твердил он, следя за полетом пустельги, плавно кружившей в небе. — It looks like a small condor⁴.

— Кондоры в Португалии? — удивился лейтенант. Полковник пожал плечами:

— Не все ли равно. Если ему хочется, чтобы был кондор, пусть будет кондор. — И, вдруг заметив маленького солдата, спросил: — Послушай-ка ты, тебе доводилось когда-нибудь видеть кондора?

— Кондора, господин полковник?

— Да, старина, — поспешил ему на выручку лейтенант. — Птицу, похожую на пустельгу. Только побольше и потяжелее.

Ординарец весь сжался и растерянно повел плечами:

— Пустельгу, сеньор лейтенант... Да-да, пустельгу я знаю...

Три пары глаз следили из расселины за ленивым полетом птицы над стрельбищем. Далеко в степи пастух и ранний путник тоже запрокинули головы, наблюдая за этой одинокой птицей, отшельницей горных вершин, которая парила в вышине, купаясь в волнах легкого ветерка, и ласково касалась земли своей безмятежной тенью.

— Пустельга летит, пустельга! — кричали солдаты, ожидающие первого выстрела.

¹ Взгляните туда... взгляните (англ.).

² Это... птица (англ.).

³ Это... ястреб, португальский ястреб (англ.).

⁴ Конечно. Он похож на маленького кондора (англ.).

И в самом деле, это была пустельга, знакомая птица, воплощение величия свободной силы и бескрайнего спокойствия равнин.

XVII

В Лавре, как и предсказывал старик, работы не было, и потому путешественники из Симадаса направились в Серкал Ново. Портела однако предупредил:

— Ладно уж, пошли, только я не стану там долго задерживаться. Поздороваясь с вашим Абилио и тут же махну в Лиссабон. А вы?

— Посмотрим, Жанико. Все зависит от того, как будут обстоять дела с этим пособием.

Часть пути они проехали на грузовике, который доставил их прямо к городским воротам Монтемора. Там они угостили шофера пивом и, поскольку еще не устали, не теряя времени, пустились в дорогу.

И вот они бредут через нескончаемые песчаные пустоши, примыкающие к полигону для учебной стрельбы. Жоан Портела, как обычно, впереди, а старик с ружьем на плече следом за ним, обдумывая какие-то новые планы.

Но на сей раз они идут не с пустыми руками. У Портелы к поясу подвешена тушка кролика, и Анибал, поотстав на несколько шагов, пожирает ее глазами.

— Я, Абилио и этот чудак уж и попируем мы втроем на славу! — бормочет старик себе под нос. — Для парня сварим бульон, из остального сделаем жаркое, и уверяю тебя, Жанико, дурень ты эдакий, вся твоя лихорадка мигом прекратится.

Он радуется, наблюдая, как стучается о ноги Портелы тушка зверька.

— Бульон из кролика. Ничего лучшего для больного и не придумаешь.

Что касается Портелы, то у него иные мечты, иные, далеко идущие планы. Серкал Ново — это лишь остановка, в пути гарнизонный городишко, следовательно, перспектив на будущее никаких. Он мечтает о Лиссабоне, о высоких строительных лесах, о легионах дворников (а не жандармов!), каждый вечер обходящих

дозором город; они подметают улицы, приводят в порядок сады и скверы; о рабочих, ползущих, словно муравьи, по бетонным конструкциям строек или, если не удастся найти более приличного занятия, чистящих бетонные водостоки — чрево столицы; ведь там, в Лиссабоне — все это утверждают, — под землей и над землей, — повсюду можно встретить крестьян, которые днем и ночью строят город. В трамваях, в магазинах, на железнодорожных платформах, везде. «Даже в тюрьмах, — думает Портела. — Кстати, что же все-таки стало с Флорипес?»

Воспоминание более чем неуместное. Он избрал путеводной звездой Лиссабон, и неприятные мысли будут теперь только мешать ему, расхолаживать. Итак, мужайся, Портела, выше голову! Вперед, в Лиссабон, к строительным лесам и на скверы!

Однако, прежде чем туда понасть, надо миновать Баррейро с его огромными черными трубами, из которых свистя вырываются клубы дыма, Баррейро с его толпами рабочих (сегодняшних подсобников на заводах, вчерашних земледельцев вроде него); и эти восемь букв, «Баррейро», которые он с детства привык видеть на мешках с удобрениями, на календарях ОПК¹ или на ящиках из-под мыла, эти восемь букв, — размышляет Портела, — даже неграмотный узнает, потому что в них заключена особая сила, заключена вся страна: Симадас и другие более мелкие селения.

— Я бы на твоём месте двинулся в Лиссабон, — посоветовал ему Анибал. — Там каждый день строят здания, настоящие дворцы, прокладывают дороги. В Лиссабоне больше автомобилей, чем во всех провинциях, вместе взятых.

— А вы, дядюшка Анибал?

Старик спешит оправдаться: ему нужно разузнать, как обстоят дела с выдачей пособий семьям военнослужащих, и вообще, прежде чем решиться на такой шаг, необходимо заручиться согласием сына.

— Поглядим, поглядим, что будет дальше, Жани-

¹ ОПК — Объединенная промышленная компания, крупнейший в Португалии трест, владеющий в Баррейро несколькими заводами.

ко... — невнятно бормочет он, понимая, что в свои годы не получит никакой работы на стройках огромной столицы.

Между тем Портела не перестает донимать старика:

— Если мы будем так тащиться, мы не придем в Серкал Ново раньше четырех... Если мы будем так тащиться, дядюшка Анибал, вы не свидитесь со своим Абилио до вечерней зари... Если мы будем так тащиться...

Стараясь не отставать от приятеля, Анибал всей душой сочувствует его нетерпению и его мечте, зовущей парня вдаль, на леса строек, на заводы с дымящими трубами. Однако, глядя на изможденное лицо Жоана Портелы, он понимает, что, где бы тот ни просил работы, у него нет абсолютно никакой надежды пройти медицинский осмотр; даже если не принимать во внимание лихорадку, дурную наследственность, голод и жара доконали Жоана.

«А почему бы и нет?! — пытается убедить себя Анибал. — Усиленное питание — лучшее лекарство. Как знать, может быть, при сытной еде этот парень стал бы крепышом?»

И он устремляет взгляд на подстреленного кролика, воображая его поджаривающимся на вертеле.

Остаток пути они идут почти в полном молчании. Старик не отрывает глаз от кролика; голова зверька, висящего на поясе у Портелы, то и дело ударяется о его ноги. Анибалу уже не приходится выбирать место, куда ступить, или определять расстояние, отделяющее его от товарища, — перед ним неотступно маячит этот компас, этот маятник, он раскачивается в такт ходьбе и отмечает, если угодно, сомнения и колебания Жоана Портелы.

Пугливая и хрупкая охотничья добыча во всей своей красе покачивается перед глазами Анибала, будто поддразнивая его: чуткие всегда настороженные ушки, лукавая мордочка и густая даже в такое время года шерсть, легкая и пушистая.

«Гладкая шкурка, гладкая шкурка, нежные лапки, опрятный зверек...» Старик не в силах устоять перед очарованием зверька.

И вдруг кролик неожиданно дергается и застывает

в неподвижности: Портела остановился. Впереди, на песчаном косогоре, виднеется темная фигура.

Внезапно возникший перед путниками силуэт заставил их вздрогнуть, словно колючки сухого репейника злобно впились в босые пятки. Они осмотрелись вокруг. Со всех сторон их окружали дюны, и ничего другого не оставалось, как взобраться на ту, что была поближе.

Постепенно им удалось разглядеть черное пугало над цепью песчаных холмов: это была старуха. Она стояла на бугре, спиной к ним. В руках она держала корзинку, ноги ее, обутые в какие-то немыслимые опорки, были слегка расставлены. На голове поверх платка надета соломенная шляпа.

— Вероятно, остановилась по нужде.

По крайней мере так им показалось. Однако, подойдя ближе, путешественники из Симадаса увидели, что старуха медленно оборачивается к ним. Она не поздоровалась, лишь устремила на них пристальный взгляд глубоко посаженных белесых глаз. Сморщенная как печеное яблоко, с худым, плотно обтянутым грязной кожей лицом, ростом не выше ребенка, она казалась в одно и то же время и смуглой и бледной. Кожа у нее была цвета жидкой глины, выгоревших на солнце, опавших листьев.

Итак, старушонка оставалась все в той же позе, в какой ее увидели путники, молча уставившись на них своими белыми глазами. И вдруг совершенно неожиданно раздался истошный вопль:

— Назад, люди добрые, назад!

Старуха на пригорке махала руками, точно выгоняла кур со своего огорода:

— Назад, ради бога, назад!

Анибал недоверчиво усмехнулся:

— Погляди-ка на нее. Не иначе как эта добрая женщина повредила в уме.

— Назад! — умоляюще зывала она с вершины холма. — Скорее, ради всего святого!

— Она и впрямь лишилась рассудка, честное слово.

Любопытство оказалось сильнее страха. Два друга почти вплотную приблизились к старухе, и перед ними открылся расстилавшийся позади нее вид: голое плато,

окруженное песчаными холмами, похожими на тот, куда они только что взобрались, земля — вся в ямах и рытвинах. Вдалеке виднелись обгорелые остовы деревьев, у входа в карьер застыла рощица искореженных пробковых дубов, но ничего нового не бросилось им в глаза, кругом царили все те же дикость, запустение и смерть.

И среди всего этого старуха. Зачем? Что она здесь делает?

«Она рехнулась», — решил Анибал.

Пока он раздумывал, послышался чей-то крик. Внизу, у дубовой рощи, неистово размахивал руками мальчишка, вопя что есть сил:

— Ба-буш-ка... бабушка-а-а...

— Ау-у-у... — откликнулась старуха и неожиданно метнулась вперед. Уже на бегу она бросила им последнее предупреждение: — Убирайтесь немедленно, сейчас начнут стрелять.

Она спотыкалась, кубарем катилась вниз, вскакивала, снова бежала, ползла на четвереньках, а сама все кричала и кричала тоненьким визгливым голоском:

— Ау-у-у... ау-у-у...

Портела и Анибал поспешили за ней. В два прыжка они настигли эту грудку лохмотьев, которая скользила по песку и кого-то звала «Ау-у-у... ау-у-у...», подобно несмышленному малышу, что играет и резвится в дюнах. Очутившись на равнине, они затрусили мелкой рысцой, не отставая от нее ни на шаг. Слышно было, как она шумно дышит, хрипит, задыхается.

— Здесь пахнет порохом. — Голос у Анибала прерывался от быстрого бега. Портела не слушал его. Он шел, понурившись и так низко склонив голову, будто хотел поцеловать землю.

— Ау-у-у-у... — пицала старуха, командуя отступлением.

«Проклятая бабка, она точно летит по воздуху», — подумал Анибал. И не удивился. При таком тщедушном теле она, должно быть, легкая, как птичка. «Ау-у-у, ау-у-у...» Чем не колибри, скачущая по полю?

Из дубовой рощи, куда они мало-помалу приближаются, доносится странный шум и грохот, писк легко порхающей вперед женщины становится все тише и

тише. В глазах у них темнеет, ноги подкашиваются от слабости. Мощные удары, гул незнакомых голосов, лязг металла оглушают путников. Кое-как старуха и прочие достигают первых деревьев этого острова спасения, от которого несет порохом и беспорядком, и в ужасе замирают на месте. И тут же, хватая ртом воздух, валятся на землю, окончательно выбившись из сил.

Лишь через некоторое время оба путешественника вдруг спохватились, сообразив, в какую ловушку дали себя завлечь. Одной опасности они избежали, хотя лишь могли догадываться о ее размерах, и теперь, полумертвые от усталости и страха, готовились ко второй. Что-то предстоит им сейчас увидеть?

XVIII

Среди жалкой рощицы искалеченных деревьев они видят ребятишек, ожесточенно сражающихся из-за соковок, найденных на пустыре. Взорванные гранаты, груды развороченного металла, куски железа, осколки, снова осколки — и рядом дети; они возбужденно переговариваются, галдят, кидают в огонь куски смертоносного металла, чтобы взорвать порох.

Паф — взрывается порох.

— Паф! — в восторге кричат дети. — Паф-паф!

Они толкаются и смеются, зажигая спички, прыгают по обожженной траве среди языков пламени. Сидящая на земле старуха наблюдает за ними. Растрепанная, жадно глотая воздух широко раскрытым ртом, она всеми способами пытается обратить на себя внимание, ерзает, суетится и наконец окликает внука:

— Нелиньо!

Детвора даже не удостаивает ее взглядом. Однако старуха не сдается:

— Ты меня слышишь, Нелиньо?

Словно бы она и не кричала, Нелиньо с друзьями ничего не видит вокруг, кроме драгоценных осколков гранат; они вырывают их друг у друга, подняв невообразимый крик. Запах пороха возбуждает мальчишек, прогоняет страх перед взрослыми. То тут, то там у подножия почерневших, обуглившихся стволов вспыхи-

вают и гаснут огоньки — сигналы бедствия или, напротив, взрывы ликования: паф-паф.

— Нелиньо! — вновь зовет женщина, ласково и терпеливо.

В суматохе она совершенно забывает о своих случайных попутчиках, ей некогда стыдиться их. Она ползет, извиваясь всем телом, и толкает перед собой корзину и соломенную шляпу. Таким образом ей удастся немного приблизиться к ватаге ребят.

— Послушай же... Послушай, Нелиньо...

— Ну что тебе еще... — огрызается внук.

Тем не менее лицо старухи светлеет, выцветшие глаза озаряет радость.

— Выжигай получше порох, малыш.

Она становится на колени, вероятно желая подняться с земли, но второпях, а может, от усталости продолжает двигаться на четвереньках. Потом протягивает к нему руки.

— Дай-ка я помогу тебе.

— Отстань! — орет Нелиньо и поспешно удирает прочь.

Протянутые вперед руки опускаются, силы старухи на исходе. Она сидит неподвижно, будто приросла к земле, и выкрикивает угрозы, которые никто не слушает.

— Тетя Либерата! — подскакивает к ней маленькая девчушка. — Очистите их сами, а то Нелиньо не умеет.

И она направляется к мальчугану, чтобы отобрать у него осколки, которые он держит в руках. Нелиньо увертывается от нее, девочка бросается за ним вдогонку, преследует его, оба кружат и кружат по роще, пока не выбиваются из сил. Преследуемый и преследовательница издали настороженно следят друг за другом. Девочка откидывает назад свисающие на глаза волосы.

— Бабуля, что Анжелина ко мне пристаёт? — каютит парень.

— Смотри у меня, шалунья!

Анжелина тяжело дышит, она запыхалась от бега. Не выпуская Нелиньо из поля зрения, она отряхивает огромный передник, достигающий ей до щиколоток, и перевязывает шнурком свои льняные волосы.

— Нелиньо! — зовет старуха.

Но мальчишка заупрямился. Он кусает губы, ударяя одним осколком железа о другой. Анжелина не умирает.

— Заберите его с собой, тетя Либерата. Заберите, он не умеет даже достать порох из гранаты. Не умеет, не умеет, не умеет!

— Помолчи-ка ты лучше, чертенок!

Не обращая внимания на старуху, девочка подбегает к Нелиню и задорно стучает кулачком по ладони.

— Не умеешь, не умеешь, не умеешь, и старьевщик больше никогда у тебя ничего не купит! Не умеешь, не умеешь, не умеешь, вчера чуть не схватил невзорвавшуюся гранату! Ни черта не умеешь, и вообще ты дурак, и твои гранаты мы с нашими никогда вместе не положим. Конечно, не умеешь. Не умеешь, не умеешь, не умеешь...

Мальчонка с заячьей губой взобрался на дерево, чтобы поглазеть сверху на грандиозную битву Анжелины с упрямыми Нелиню. На нем мужской жплет, вероятно с отцовского плеча; полы его, похожие на два огромных, опущенных крыла, закрывают колени. Поравнявшись с Анибалом, он улыбнулся, не поднимая головы, и полез на облюбованное дерево. Уселся на сук и принялся потирать друг о друга босые ноги. Всякий раз, когда незнакомцы смотрели в его сторону, он поворачивался к ним и ухмылялся с глуповато-хитрым видом.

— Зе Петушок, Зе Петушок,— горланил он со своего наместа.

— Турулулу,— вторили ему остальные.— Щипанные перышки, кукареку...

В дубовой роще начинается представление. Нелиню отступает, озираясь по сторонам, он прекрасно знает, что ему не вырваться из этого заколдованного круга. «А вдруг он убежит?» — волнуется старуха, обеспокоенно поглядывая на песчаную пустошь, что начинается в двух шагах отсюда, за редкими опаленными деревьями.

Зе Петушок, Зе Петушок, облезлый гребешок.

Турулулу...

Щипанные перышки, щипанные перышки,

Кукареку...

Парнишка с заячьей губой спрыгивает на землю и присоединяется к хору насмешников. Он не хлопает в ладоши, как другие, а, спрятавшись за ребятами и продолжая поглядывать на Анибала и Портелу, трясет полями своего жилета и хохочет.

Зе Петушок, Зе Петушок...

У Нелиньо навертываются слезы. Затравленный товарищами, он прибегает к последнему спасительному средству: вскидывает руку и замахиивается на мучителей осколком гранаты. Все моментально попятилось, все, кроме Анжелины; она продолжает наступать на него медленно, но непреклонно.

— Бросай, бросай же! — вызывающе кричит она, теребя передник.

И Нелиньо подался назад, чтобы отойти на безопасное расстояние. Он остановился, поднял руку с осколком. Девочка закрыла глаза, спрятала лицо в ладони. Но взрыва не последовало. Она выжидает еще мгновение. Взрыва нет. Анжелина раздвигает пальцы, приободряется, поднимает голову.

— Ну же, ну!..

Лишь тогда мальчишка решился наконец запустить в нее осколком — он швырнул его кое-как, не целясь, и пригрозил напоследок:

— Ты б у меня получила, если б я захотел!

Воспользовавшись моментом, разъяренная Анжелина кидается на противника. Она почти настигает его и уже протягивает руку, чтобы схватить, как вдруг он валится на землю и начинает дрыгать ногами. Старая Либерата преградила ему дорогу. Она притаилась в засаде и ждала, готовая вцепиться в Нелиньо, лишь только он окажется рядом.

— Ах, паршивец, ты за это заплатишься!

Старуха наклоняется над внуком, и на глазах у всей оравы они схватываются друг с другом. Нелиньо отбивается, хнычет, замахиивается на бабу кулаками, поровит укусить ее за руку и, внезапно вырвавшись, вонзает зубы в плечо старухе. Та вопит от боли.

В ту же минуту вдалеке раздается ужасающий грохот. Путешественники из Симадаса в страхе поднимают

глаза к небу, а дети и старуха с внуком распластались на земле. Воздух над их головами со свистом разорвался. В Серкал Ново был произведен первый выстрел.

XIX

Небо и земля — все содрогалось. Над дюнами, по которым совсем недавно проходила старая Либерата, медленно поднялось облако пыли.

Стены каземата наблюдательного пункта задрожали от взрыва, дневной свет на какое-то мгновение померк. В наступившей затем тишине сквозь щели в крыше на головы троих офицеров хлынул дождь из песка и сучьев. Но ни Козлиная Бородка, ни полковник, ни лейтенант не обратили на это внимания; никто из них не выпустил из рук бинокля, не перестал наблюдать объект. И когда в этот миг жертвоприношения раненая земля извергла куски самой себя и в небо взметнулось тяжелое облако — так настигнутый гарпуном в глубине вод морской зверь выбрасывает фонтан крови, что всплывает и растекается по поверхности, скрывая его и защищая от преследователей, — офицеры стали обмениваться поздравлениями.

— Наводка произведена абсолютно точно, господин полковник.

— *Muy bien... Congratulation, colonel*¹.

— Еще одна коррекция, и полный успех.

Полковник рассыпается в благодарностях. В надвинутой на лоб каске, в круглых очках, с огромным ртом до ушей он напоминает улыбающуюся жабу.

Тем временем новый залп разорвал небо почти на краю полигона. Слева от первого появилось второе облако песка и пыли, такое же густое и плотное; становясь все темнее, оно устремляется вверх и реет между небом и землей, ожидая, когда ветер унесет его.

Мужчины, старуха и дети лежат ничком — наподобие архипелага среди океана пепла и пороха, среди дубовых стволов. Только Анжелина на ногах, точно капитан во время кораблекрушения. Прикрыв глаза рукой,

¹ Очень хорошо (*исп.*), поздравляю, полковник (*англ.*).

она ждет третьего выстрела, уверенная, что он не замедлит последовать.

С самого утра она следила за огнем батарей и твердо знала, сколько выстрелов делалось перед каждой паузой. Их было четыре, как почти всегда во время учебной стрельбы на полигоне. Четыре залпа, и после них — передышка; воспользовавшись затишьем, дети во весь дух бежали к мишени и подбирали осколки снарядов. Анжелина убеждена, что последний выстрел не заставит себя долго ждать. Она стоит неподвижно, льняные волосы и золотой шнурок блестят на солнце.

Наконец устрашающий грохот потрясает все вокруг. Ватага ребят не отрывает напряженного взгляда от кусочка неба, где должна промелькнуть черная точка снаряда. Одни его видят, другие притворяются, будто видят, но сейчас, несмотря на страх, все слышат треск разрывающегося в воздухе снаряда, и град коротких сухих ударов обрушивается на многострадальные деревья, служащие детям прикрытием. Так-так-так... Анжелина припадает к земле, осколки безжалостно прошивают небольшую рощу.

— Это картечью! — кричит кто-то, кажется Нелиньо.

Гробовое молчание. Опасность миновала, но никто не двигается. Анибал осторожно пробует поднять голову, и не успел он встать, как все разом повскакали с земли. Еще мгновение спустя старуха и дети шагали гуськом по песку. А Портела?

— Жанико!

Ошеломленный Анибал тщетно озирается в поисках друга, его оглушил неистовый гомон ребячьих голосов, этот набег, нападение на полигон, а крошечная старушка, окруженная ими, свистит и потрясает корзиной, словно конкистадор штандартом. Анибал делает наугад несколько шагов, вслед ему несется вопль Нелиньо:

— Стреляли картечью!.. Стреляли картечью!..

— Жанико! — надывается Анибал.

Портела внезапно появился у входа в карьер. Он идет медленно, заметно прихрамывая.

— Меня покалечило, — сообщает он.

Анибал берет его за руку, охваченный одним желанием — увести поскорее Жанико из этого крошечного

ада, убежать отсюда как можно дальше. Но, взглянув на ногу товарища, вздрагивает: под кроликом растекается густое темное пятно. Он протягивает ладонь, щупает, пальцы касаются чего-то теплого и липкого — кровь. Портела ранен.

Сначала он хочет позвать на помощь. Но, окинув взглядом окрестности, видит лишь опустошение и пепел да еще ребят, роющихся в дымящейся земле. Из-за дюн высочил новый отряд сорванцов, и завязалась драка. Сражались яростно и ожесточенно; старуха, эта обезумевшая искательница приключений, воодушевляла ребят на борьбу, нанося удары корзиной, точно шпагой, направо и налево врагам и друзьям, осыпая их ругательствами и не переставая звать внука. Кроме детей и старухи, здесь никого не было. «А ведь он ранен», — сокрушался Анибал.

Во что бы то ни стало нужно было выбраться из западни, и чем скорей, тем лучше, но старик опасался, как бы огонь не настиг их, когда они будут пробираться по дюнам. «Разумнее остаться, — подумал он, — пока Авжелина или кто-нибудь еще из этих маленьких забияк не сбегает к солдатам за подмогой».

— Решено, мы остаемся тут.

Прежде всего он снял с плеча ружье, чтобы легче было двигаться, потом перетащил раненого под сень дуба, положил его навзничь, вытер кровь.

Держись, Жанико, потерпи немножко, ребяташки вот-вот вернутся. А если задержатся, то он сам вскарабкается на холм и руками или рубашкой подаст артиллеристам знак, чтобы они прекратили стрельбу. Они непременно заметят его, уверял Анибал. И непременно пошлют кого-нибудь узнать, что случилось.

Жоан Портела, ружье и подстреленный кролик лежат рядом под дубом. Они покоятся на засыпанном землю тонком слое пепла, который скоро превратится в соль, в азотное удобрение для искалеченных дубов. Почти без сознания, раненый казался спокойным, и это обмануло старика. Однако при первых же вспышках боли, пронзившей оцепеневшее тело, нервы Портелы напряглись. Он стиснул зубы, впился ногтями в корявый ствол дерева и, раздираемый мучительной болью, все же нашел в себе силы простонать:

— Это виноват ваш Абилио, дядя Анибал... Будь он трижды проклят, ваш Абилио, он меня погубил.

Из дубовой рощи доносились крики детей, дерущихся из-за обожженных огнем осколков.

XX

Рано утром Казимира Сота из Симадаса отправилась в Поселок.

— Не ходите, — отговаривали ее соседи. — Раз сержант не сказал вам, где внучка, значит, он не хочет, чтобы вы ее навещали.

— Вчера не хотел, — возражала она. — А сегодня, кто знает, может, переменял мнение.

— Вы уверены, что Флорипес в полицейском участке?

— Если даже ее сейчас оттуда перевели, она все равно была там. Тогда я пойду в тюрьму и, уж коли в тюрьме ее не найду, снова обращусь к сержанту. И стану надоедать до тех пор, пока он не уступит.

— Смотрите, берегите себя, тетушка Казимира!

Но она стояла на своем, и никакие доводы не могли ее удержать.

— Ну и характерец у старухи, — вздыхали крестьянки.

Пока они судачили, обсуждая безрассудный поступок бабушки Сота, Казимира с кулечком в руках и корзиной на голове шагала по равнинам и горным ущельям. В корзине она несла смену белья, корсаж из сурового полотна, нижнюю юбку и прочие мелочи, в кулечке — деньги и горсть мелких яблок. Она шла и шла и вот наконец остановилась, еле переводя дух, на площади, где помещалась окружная тюрьма.

О, эта тюрьма! Прежде, когда она была ризницей церкви Святых Мощей, она представляла собой просторную каменную залу с купелями, наполненными святой водой, на балках из каштанового дерева кистью маляра были выведены по-латыни библейские изречения. Но когда провозгласили республику, явились какие-то личности, заложили кирпичом дверь, ведущую в главный алтарь, и ризница, изолированная от остальной

церкви, прекратила существование, превратившись в тюрьму.

С той поры всякий раз, как распахивались створки окна, выходящего на площадь, из бывшей ризницы уже не веяло религиозным духом — ароматом благовонных курений, смешанным с затхлым запахом святош, а несло едким потом, плохой пищей, непрерывно слышались крики заключенных.

По воскресеньям, после окончания мессы, и в дни праздников за решетками появлялись сумочки для подаяний, подвешенные на бечевках; они сновали вверх и вниз, словно рыбы на крючке. Шутники прозвали их нищенской сумой арестантов. И многие крестьяне опускали туда монетку или хотя бы курево.

«Тук-тук», — выстукивали заключенные, напоминая Поселку и приезжим, которые расхаживали по площади, что они тоже живут на белом свете. «Тук-тук...»

Мешочки безостановочно опускались и поднимались под приглушенное постукивание: «Тук-тук-тук, самокруточку, ради бога. Тук-тук, подайте на пропитание оставленным дома детишкам. Тук-тук... Тук-тук...»

Теперь ничего этого нет и в помине. Исчезли мешочки и постукивание, сохранились лишь арестанты, и не будь прикинувших к зарешеченным окнам зверских физиономий и специфического запаха, разносящегося кругом, никто бы и не поверил, что часть церкви Святых Мощей превратилась в пристанище бандитов. Снаружи все, казалось, было по-прежнему: старая ризница, облицованная, как и остальное здание, изразцами с орнаментом, и, разумеется, ниша со статуей мадонны с младенцем, неизменно обращенной лицом к площади, где останавливаются автобусы.

Но лишь тот, кто видел пресвятую деву раньше, может судить, насколько она поблекла под своим стеклянным, с отбитыми краями колпаком. Бумажные цветы больше не украшают ее, кружки для пожертвований нет и следа, исчезли тонкие восковые свечки — символы принесенных обетов. Некогда голубое платье мадонны совершенно выцвело. Скорбная и печальная, она так высохла и почернела от жары и зимних холодов, что стала похожа на крестьянку, работающую в поле от зари до зари.

Тем не менее статуя пытается сопротивляться, как сопротивляется фасад ризницы, несмотря на бетонные подпорки и режущую слух брань заключенных. Снаружи все, как прежде, но внутри соорудили нары, убрали каменные купели, а что касается изречений из Библии, то буквы уже давно стерлись. Сейчас деревянные балки украшают ругательства, угрозы, даты, имена, нацарапанные кончиком ложки. И клопы, скопища кровожадных клопов.

«Смердящая падаль» — так окрестила тюрьму старая Казимира из Симадаса. Всю дорогу она не переставала о ней думать. Тюрьма рисовалась ей мрачной пещерой, кишашей демонами по соседству со святыми на алтаре по ту сторону заложенной кирпичом двери. Одни искупают грехи молитвами, другие — лишением свободы, таков закон, и каждый — и демоны, и святые — по-своему соблюдают его.

Казимира хранила в памяти рассказы об одном сапожнике из Поселка, поплатившемся семью годами тюрьмы за убийство невинного младенца. Открылось, что он задушил новорожденного, своего кровного, плоть от плоти, сына, и закопал труп под фиговым деревом. Под дикой фиговой пальмой, вот ведь совпадение: Иуда тоже выбрал это дерево, чтобы на нем повеситься.

И, подобно же Иуде, сапожник потом раскаялся в своем преступлении. До сих пор жив тюремщик, неоднократно слыхавший, как жена осужденного молилась перед главным алтарем, у наглухо заколоченной двери, а сапожник вторил ей: «*Miserere nobis*»¹. Как будто даже (по словам того же тюремщика) он увлекся чтением божественных книг и жадно поглощал все, что доходило до него из *imprimatur*² епископами. Сапожник не расставался с Библией и Катехизисом, дня не проходило, чтобы он не перечитывал послание к коринфянам, особенно ту, наиболее важную часть его, где говорится: «И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света»³.

Был ли сам сапожник ангелом света? Кто на это

¹ Смилуйся над нами (лат.).

² Здесь — разрешенного к печати (лат.).

³ Второе послание к коринфянам апостола Павла.

ответит?! К фразе из послания часто обращался престарелый священник Поселка, ныне скончавшийся, когда хотел доказать всемогущество бога и его безграничное милосердие. И как пример приводил сапожника, который сделался достойным прихожанином, лишь научившись уважать труд. Старухи набожно крестились и уж теперь, если им было нужно рассказать о каком-нибудь чуде, сапожник приходил на выручку: ангел света или раскаявшийся убийца, не суть важно, зато с рассвета до захода солнца он сидит за решеткой с шилом и дратвой в руках и без устали тачает сапоги, зарабатывая хлеб для семьи. На праздники его в сопровождении тюремщика отпускали на несколько часов домой. Если что-нибудь случайно напоминало ему о невинно убиенном, сапожник разражался слезами; они обедали втроем — он, жена и тюремщик, и, как поговаривали в Поселке, сапожник потом просил позволения задержаться еще немного, чтобы выполнить свой супружеский долг.

Раскаявшийся сапожник был в годы республики единственным постоянным гостем тюрьмы. Но время шло, совершались новые злодеяния, новые преступления. Бывшую ризницу заполняли мелкие жулики: похитители воды, бродячие цыгане, заподозренные в поджоге из мести, рыбаки, что ловят рыбу в мутной воде, а иными словами, контрабандисты, промышляющие торговлей наркотиками.

По мере того как появлялись новые узники, сапожника понемногу оттесняли в глубь зала, так что площадь догадывалась о его существовании только по доносящемуся изнутри стуку молотка, потому что осужденные, прилипнув к решеткам, заслоняли окна.

— Бедняги, — заключила Казимира Сота, недоумевая, что же будет делать в тюрьме среди всех этих несчастных ее внучка.

По городу разнесся слух, будто Флорипес вскоре переведут в Лиссабон, как перевели Алейшо Серрадора и других после восстания в Феррейре.

— Казимира из Симадаса может распрощаться со своей внучкой, — выносили приговор одни.

— Пускай занимается воспитанием малышей, все равно ей больше не видать девочки, — прочили другие.

Вся деревня обсуждала новость и никак не могла решить, стоит ли ей верить.

— Боже мой, боже ты мой,— шепотом твердила старуха.

Крепко прижимая к себе корзинку с одеждой и кулечек с яблоками, она идет через площадь прямо к тюрьме. Взрослые жители Поселка жмутся к дверям лавчонок, дети перестают играть, провожая ее внимательным взглядом. Все молча глядят, как она приближается. А Казимира, словно она совсем одна на площади, ставит корзину на землю и, набрав в легкие побольше воздуха, кричат:

— Внучка, где ты, внученька?

Никто не отвечает. Она снова зовет:

— Внучка!

Внезапно луч солнца выглянул из-за туч: Флорипес вместе с двумя заключенными появляется у окна.

— Внучка! — кричит старуха, радостно встрепенувшись.

Флорипес улыбнулась ей. А вся площадь в молчании смотрит на старую женщину у тюрьмы, Казимира Сота сотрясается от рыданий, смеется и машет кулечком с яблоками.

— Внученька. Внучка, внученька!

XXI

В госпитале при казарме Серкал Ново на железной койке лежит человек; ноги его обнажены, подол рубашки задран до самого подбородка.

Однако он все еще обут; когда ему стали накладывать повязку чуть пониже паха, оказалось невозможным стащить брюки с распухшей ноги. И по приказу грубых, нетерпеливых санитаров двое солдат в белых халатах разрезали ножницами сверху донизу штанину из грубой ткани, обнажив натянувшуюся окровавленную кожу, измазанные голени, выпирающие из башмаков, съежившийся, пристыженный член. Исчезло это темное равнодушное пятно, исчезли следы крови; кожа раненого теперь цвета чистого воска и сверкает в полумраке белизной, напоминающей о вечности.

— Вы знаете этого беднягу? Кто-нибудь видел его прежде?

— Он не здешний. Наверное, прошагал много километров, чтобы попасть в Серкал Ново.

— Откуда он взялся? Кто он и как его зовут?

Его зовут Жоан Портела, Жоан Розарио Портела. Перед койкой проходит процессия теней с печальными монотонными голосами. Голосами, подобными холодному дуновению ветра, отзвукам сна, охраняющего незнакомца.

— Он явился издалека, из Бежа. А может быть, откуда-нибудь и подальше, кто знает?

— В удостоверении сказано, что он из Симадаса. Родился и проживает в Симадасе, район Бежа.

Штанину на здоровой ноге сначала не трогали, но перед приходом врача ее тоже разрезали и сняли ботинок. И Портела так и остался лежать неподвижно, словно внезапно умерший и ограбленный в спешке — одна нога в башмаке, другая босиком, — сверкая белоснежной повязкой в тускло освещенной палате, будто мертвец под луной, приманка для любопытных призраков.

— Вот что значит судьба. Человек припелся в Серкал Ново невесть откуда, а с ним эдакое приключилось.

— Бывает. Если не знаешь, куда ступаешь, будь готов к любым неожиданностям.

— А кто может похвастать, что всегда знает, куда ступит?

— Тоже верно. Неприятности обычно сваливаются на голову, когда меньше всего их ждешь.

— Послушайте! Да помолчите вы хоть немного...

С койки доносится стон:

— Ох... ох-ох-ох...

— Снова начинаются боли, — вполголоса переговариваются призраки.

Много их прошло мимо койки больного, но задержалось лишь трое: два солдата в белых халатах, исполняющие обязанности санитаров, и жандарм в военном мундире из толстой ткани, расстегнутом из-за невыносимой жары; на согнутой руке у него болтается каска, на груди скрещиваются патронные ленты. Судя по его снаряжению, можно заключить, что это солдат охра-

ны, ожидающий здесь, когда настанет время сменить на посту товарища.

От сильной боли и оттого, что он лежит, больной не может хорошенько разглядеть склонившиеся над ним фигуры. Он смутно различает какие-то тени, темную и две светлые, будто меловые утесы. Улавливает отдельные слова, замечания, слышит доносящиеся словно из другого мира голоса этих теней; они гадают о том, какие причины могли привести этого человека на стрельбище, прямо под огонь.

— Вероятно, он охотился, его друг нес кролика и ружье. А возможно, собирал осколки снарядов? Или просто так брел наугад?

— Ох-ох-ох... — стонет Портела.

— Ему очень худо, — сочувственно замечает солдат с каской.

Он приближается к больному и укрывает его одеялом.

— Надо думать, ведь пуля задела артерию.

— А ее сумеют зашить?

Санитары об этом понятия не имеют.

— Наш лейтенант велел позвонить, если боли резко усилятся. Он наложил повязку и был таков.

— Ах, — бормочет часовой. — Значит, боль станет еще сильнее?

— Это уж как водится. А коли у него терпения не хватит, лейтенант разрешит сделать ему укол, пусть заснет...

— Обезболивающий, да?

— Он самый. Специальный укол, чтобы он ничего не чувствовал.

Трое военнослужащих, стоящих у кровати раненого крестьянина, потрясены его страданиями. Солдат с каской, которому положено отдыхать, прежде чем заступить в караул, и два других солдата, назначенные дежурить в лазарете, ожидают прихода лейтенанта-врача в надежде на то, что его распоряжения и его всесильная наука помогут удалить из этого измученного тела засевшую в нем пулю.

— А если позвонить?

Всякий раз, когда раненый стонет, часовой страдальчески морщит лицо.

— Рано еще, наш лейтенант не любит, чтобы его беспокоили. Он велит звонить лишь в случае крайней необходимости. Я ведь правильно говорю, Скреби Котелок, а?

Скреби Котелок, второй санитар, кивает головой в знак согласия.

— Лишь когда боль станет действительно невыносимой, можно сделать ему укол.

— Обезболивающий укол?

— Вот-вот, именно.

Они закуривают сигареты и отходят в глубь комнаты, молча садятся, пуская колечки дыма, и каждый стремится вместе с дымом отогнать подальше собственные мысли. Время бежит, час смены караула близится, о чем возвещают крики часовых, в теплой ночи расхаживающих вокруг казармы.

«Может быть, военный врач уже в пути, он направляется в госпиталь, повеселившись на вечеринке в кафе или прослушав по радио трансляцию футбольного матча. Может быть, он обсуждал этот случай со своим коллегой, например, из бесплатной больницы и сейчас возвращается, разумеется без всякой спешки и паники, потому что отлично знает, что делать; он уверен в себе, как все, кому приходилось воочию видеть смерть и кто не раз заставлял ее отступать метко нанесенным ударом. А вдруг, о, ведь и такое может случиться, вдруг этот бедолага, человек штатский и не подлежащий военным законам, не имеет права лечиться в госпитале и его переведут в больницу? Разве когда-нибудь уразумеешь все уставные тонкости», — размышляет про себя часовая.

В госпитале при казарме три военнослужащих и крестьянин ожидают прихода врача, его целительного слова. Скреби Котелок заранее готовит шприц, а солдат с каской в который уже раз интересуется:

— Так, стало быть, вы сделаете ему укол?

— Если понадобится.

Скреби Котелок снова зажигает сигарету.

— Посмотрел бы ты на сержанта, что у нас здесь лежал!.. — Санитар обменивается с товарищем понимающим взглядом. — У него был столбняк. Что бы сказал этот Портела, если б очутился на его месте.

— Черт поberi... Таких мучений я, верно, больше никогда за всю свою жизнь не увижу...

— Мы его так искололи, что кожа у него напоминала сито, вся в дырочках. Ты помнишь, Скреби Котелок? Укол за уколom, только успевай поворачиваться!.. А боль была такая, что он все время просил прикончить его ради Христа.

— Но в конце концов все же выкарабкался. Через три дня он был вне опасности.

— А этот парень? — спрашивает солдат с каской. — Он тоже выкарабкается?

XXII

Этот парень (говорил позднее фельдшер) даже и не подозревал, что его ожидает. Злая судьба привела его туда, куда он и не думал попасть, и он лежал там всеми забытый и жалкий, дрожа от лихорадки и ужаса.

— Ох-ох-ох... — жалобно стонал он в надежде привлечь внимание окружающих.

Поздно ночью из города прибыл хирург со своей свитой. Хирург, казарменный врач и фельдшер пришли в палату. Не хватало разве что дежурного офицера с нагрудной повязкой и пистолетом.

Фельдшер снял бинты, хирург увидел огромную, чудовищно раздувшуюся ногу, измазанную запекшейся кровью, и развел руками. Все молчали. Хирурга спросили, стоит ли стаскивать ботинок или разрезать его, чтобы было легче снять, но он ответил, что в этом нет никакой надобности, и опять склонился над железной койкой. Он пытался нащупать пульс артерии под коленом.

Наконец хирург пришел к заключению, которого так боялись лейтенант, фельдшер и санитар.

— В операционную, — приказал он, и все беспрекословно повиновались.

Они направились через главный вход. Впереди неторопливо, с озабоченным видом шли врачи, переговариваясь на ходу, за ними фельдшер, заключал процессию Портела, которого несли на носилках два солдата в белых халатах. Не было слышно ни птичьего щебета, ни

дуновения востерка. Даже летучие мыши — летом они нередко слетаются к освещенным окнам казармы — висели в ту ночь в своих норах вниз головами.

Солдатам из госпиталя никогда не забыть, как мрачный кортеж медленно двигался по улочкам сонного Поселка. Долго потом они вспоминали старика, появившегося из темноты, едва они покинули казарму, и зловещую тишину, окутавшую его силуэт. Он не шевелился, почти сливаясь с ночными тенями.

Потом солдаты с носилками чуть не столкнулись с ним, когда выходили из ворот. На сей раз старик появился лишь на миг, на какую-то долю секунды. И тотчас видение исчезло; жуткая фигура ночного бандита с горящими глазами, всклоченной бородой и охотничьим ружьем наперевес обратилась в тень, в обычную тень у дороги, и мало-помалу бесследно растворилась во тьме.

Тем не менее дикий призрак Анибала (дикий, как агава, как скалистый утес) и дальше сопровождал одинокую процессию, уносящую его друга. Анибал следовал на почтительном расстоянии, точно трусливый пес, прижимаясь к стенам, прячась за каждым углом, — подходить слишком близко старик опасался. Санитары знали, что он идет за ними, они чутьем угадывали его присутствие, незачем было даже оглядываться.

Шествие от казармы к бесплатной больнице, от часового, отдавшего им честь при главном входе, к сестре-монахине с белыми, как воск, руками, препроводившей их в операционную, — шествие это напоминало церемониальный марш, который вместо громкой команды сопровождался шущуканьем врачей. Не желая тревожить ночную тьму, они чуть слышно говорили о странных вещах, и слова их были так же непонятны, как латынь их рецептов или молитвы священников. Они обсуждают, решили солдаты, шедшие позади, надо ли класть больного под нож или можно оставить пулю в теле, как это делали сплошь и рядом во время первой мировой войны. А быть может, они изыскивают средство избавить его от ночных страданий? Солдаты всячески напрягали свое воображение, чтобы хоть немного повясть беседу врачей.

Несколько часов спустя, когда те же самые санита-

ры в белых халатах возвратились с раненым в казарму, почти совсем рассвело. На тротуарах появились прохожие, на проезжей части улицы стало оживленно: пастихи ударами кнута гнали скот; запряженные лошаадьми телеги отправлялись на целый день в поля перевозить урожай; в кафе мигали сонные огоньки. Но на душе у солдат скребли кошки, они никак не могли забыть эту ногу: все еще обутая в ботинок, она лежала в ведре операционной.

«Как же теперь?» — спрашивали они взглядом друг друга.

А вот как. Портела снова в госпитале на простой, выкрашенной в белый цвет койке. Присмотритесь внимательно: это калека, обрубок; он в забытьи, еще не пришел в себя после наркоза.

Явился дежурный офицер и осведомился:

— Ну как он?

Солдаты подвели его к кровати, показали забинтованную культю. Офицер вернулся в кабинет.

Затем наступила очередь фельдшера. Тот же вопрос: «Ну как он?» Солдаты и его проводили к больному, после чего фельдшер удалился. Наведался младший лейтенант, и в заключение — солдат, тот, что вечером вместе с санитарями сидел у постели раненого, а сейчас только что сменился. Он все знал. У ворот казармы он видел плачущего старика.

— У него охотничье ружье? Так это его приятель.

— Я попал из-за него в дурацкое положение, — признался солдат. — Он так настойчиво лез в ворота, что пришлось позвать капрала. Это ужасно... Беспомощный инвалид на всю жизнь... это ужасно.

— Пуля задела артерию... — пояснил один из санитаров.

Второй, Скребби Котелок, добавил:

— Артерия чертовски важная штука. Когда такое случается, иного выхода нет... — Он говорил, не поднимая глаз от земли, будто извиняясь в чем-то: — Сейчас еще ничего. Хуже будет, когда он очнется. Фельдшер рассказывал, будто раненым долго потом кажется, что у них есть нога, рука или что там еще, а на самом деле их давно отрезали. Они вроде даже ощущают боль, можешь себе представить? Подумай, у них

болит то место, где ничего уже нет. Тронут, а под рукой пусто!

Было смешно и грустно смотреть на этого Скреби Котелок. Разговаривая, он тряс маленькой бритой головой и стучал ногами.

— Ты только представь себе! — твердил он.

Скреби Котелок и другой санитар были потрясены рассказом о фантастических болях в отрезанных частях тела, которые продолжают болеть и после того, как их отрезали и они гниют в сточной канаве или эмалированном ведре вместе с башмаками и прочим.

Лишь врачи могут объяснить это, рассуждали санитары, врачи или фельдшер, ведь он не простой рекрут вроде них, а медик с дипломом. Они же, солдаты, посланные в госпиталь по наряду, ничего или почти ничего не смыслят в таких вещах. И они продолжали мучиться, отыскивая причину столь таинственного явления.

— Нет, ты можешь себе это представить?! — допытывались они у часового.

А у того простодушного деревенского парня волосы вставали дыбом от подобных историй. Он сидит на стуле, устремив глаза в пол, печально покачивает головой и выдыхает почти беззвучно:

— Черт подери!

Бледный утренний свет, проникающий через окно, льется солдату на спину. Он о чем-то задумался и молчит; он один. Санитары покинули его. Они хлопочут в соседней комнате, варят больничный кофе, более крепкий и ароматный, чем в казарме. И пока они отсутствуют, рассветные лучи окончательно побеждают мглу, они заливают пол, падают на черные сапоги солдата, стул. Это уже не отблеск зари, это солнце, это его холодное, но живое сияние.

Когда санитары в развевающихся белых халатах вернулись в палату, неся перед собой дымящийся кофейник, часовой все еще был там, на прежнем месте, весь залитый солнцем; он поглаживал лежащую на коленях стальную каску.

— Давай с нами завтракать! — приглашают они его и тащат к железному столику у окна. Они усаживают-

ся втроем: санитары пьют из стаканов, солдат — из фляжки.

— И находятся же такие идиоты, что уверяют, будто мы живем в госпитале, как у Христа за пазухой, — сетует Скреби Котелок. Он поднимает глаза на солдата и видит, что тот снова замер с флягой в руках, углубившись в свои мысли. Скреби Котелок окликает его:

— Пей кофе, дуралей.

Но солдат не слушает товарища, он кивает в сторону раненого.

— Может статься, они еще штраф с него сдерут.

— С этого бедняги? Я бы не удивился. По уставу запрещено появляться на полигоне во время стрельбищ.

— И большой штраф?

— Это уж как им заблагорассудится. Пей же кофе, старина.

Сидя перед пустыми стаканами, оба санитар лениво потягиваются, словно кошки. «А-ха-ха...» — мурлычут они дуэтом, зевая во весь рот.

— Пожалуй, пора и честь знать, — говорит солдат и направляется к двери.

— А кофе? Не будешь пить?

— Выпью в казарме перед сном.

С фляжкой в руке он пересекает двор — ранние пташки рекруты, обнаженные до пояса, в сандалиях, уже бегут в туалет — и вдруг чувствует, как пальцы его становятся влажными, горячими. Он догадывается, что это кофе, слышит, как он капля за каплей стекает на землю, прочерчивая тонкую пунктирную линию. Солдату становится приятно от этого уютного тепла. Он задерживается на мгновение, чтобы глубоко вдохнуть в себя утреннюю свежесть, и вдруг вздрагивает: горнист трубит зорю. Тогда он поднимает воротник шинели и идет дальше.

XXIII

Низвергнутый в бездну огромного пустого колодца, раненый постепенно погружался в беспросветный мрак, и там, в каменных недрах земли, он стал подобен капле крови, крошечной частице жизни, смутному воспомин-

нанию о человеке. А когда заживо погребенный в этих глубинах Портела стал пробуждаться, он увидел над собой высокое грозное небо и облака дыма, клубящиеся у отверстия колодца.

Его жалкое, безжизненное тело, распростертое на койке, напоминало листок бумаги, брошенное в колодец послание. Время от времени ему казалось, будто он слышит голоса, различает в тумане, плотной пеленой заслонившем от него весь мир, чьи-то тени, и тут же он узнавал белых шакалов, склонившихся над ним и стерегущих его. Они тявкали друг на друга и иногда говорили по-человечески.

— Он пришел из Симадаса... из Симадаса... Он родился и проживает в Симадасе...

Они ни на миг не оставляли Портелу в покое. Шептались, дули на крохотный клочок бумаги, желая вернуть его пустоте, из которой он пытался выкарабкаться; это были безликие силуэты, шакалы в белых халатах, пособники смерти, жаждавшие поскорей отведать его мяса, дьяволы.

Бесчисленное количество раз выплывал он из глубин кошмара в тесный мирок палаты и столько же раз падал обратно в бездну, заслоненную облаками и тенями призрачных заговорщиков. Белый листок, этот живой сигнал (иными словами, сам Портела) опускался и поднимался от их слабых, точно эхо, голосов, а в редкие минуты покоя плавно скользил, реял, как подвешенное в воздухе полотно, проплывая низко над землей по пустынным улицам военного городка. И всегда ночью, всегда с головокружительной быстротой. Но и тут ему грозила опасность: шакал выслеживал его издали. Портела видел, как он выглядывает из-за каждого угла, безмолвный, настороженный, и гнал наваждение: «Будь ты проклят, тысячу раз проклят». А эхо тысячекратно повторяло в сумерках: «Будь ты проклятый!»

Тогда шакал (при нем было охотничье ружье Анн-бала, его шляпа и жилет) медленно поворачивал голову, и перед Портелой возникало лицо солдата, сына старика, только с длинными, как у женщины, волосами.

«Будь ты проклят», — твердил Портела, проносясь мимо. В ответ призрак Абилино растопыривал серые и

морщинистые, словно лапы черепахи, пальцы, и из-под его крючковатых ногтей вылезали крошечные существа, которых он рассеивал по тротуару. Это были черепахи, они росли с ужасающей быстротой, разделяясь на тысячи и тысячи новых, и катили свои твердые панцири по булыжной мостовой. Поток черепах захлестывал Поселок, от адского грохота их панцирей все вокруг дрожало, будто по мостовой выбивали барабанную дробь.

Мостовая и в самом деле дрожала, но не от черепах, а от войска — тяжелые тягачи с пушками на прицепе, мотоциклы, походные кухни, солдаты на грузовиках и резвых, беспокойных лошадях возвращались в казарму.

— Маневры окончены, маневры окончены, — слышалось повсюду: в борделе, в казармах и у дверей магазинов Серкал Ново. — Артиллерия прекратила огонь.

Часы на площади показывали полдень. Часовой у ворот взял на караул.

И вот все вернулось на свои места. Мулы — в конюшни, тягачи — в автопарки. Снова начались солдатские будни, всегда одинаковые, всегда безрадостные. Часовые, включенные в замкнутый круг времени, сменяют на посту друг друга. Ежеминутно по каждому поводу и без всякого повода раздаются приказы и звуки горна; по каждому поводу и без всякого повода объявляют марши и построения, рекруты равняют шаг, сержанты дают наряды.

В углу двора Анибал сидит рядом с сыном и в который уж раз со всеми подробностями рассказывает об ужасном происшествии на стрельбище; в зале сержанты играют в карты. Но среди дам и валетов им мерещится Портела.

— Он дрожал как осиновый лист. Вчера его принесли сюда старик с санитаром, оба в крови, видно, из раны натекло.

— Наверное, лопнула какая-нибудь вена. Потому ему и отрезали ногу.

— Вот до чего дошло. Прежде дети подбирали осколки. А теперь и взрослые втянулись, подумать только.

— И женщины. Или ты забыл о цыганке с осликом?

— Попридержи-ка язык, хватит о цыганке! Правильно я говорю, старший сержант?

Сержанты развлекаются, подтрунивая над цыганкой, которая, по-видимому, проводила на полигоне счастливые минуты в обществе военных.

— Во всяком случае, — смеются они, — никто никогда не замечал, чтобы она интересовалась снарядами.

— Цыганка не так глупа, она предпочитает холодное оружие.

— Ложь! Просто вас разбирает зависть. Спросите у Нунеса и сами убедитесь, что все это враки.

— А ну помолчите, дайте сказать знающему человеку. Слово предоставляется старшему сержанту Нунесу.

— Тихо вы! Слушайте сержанта Нунеса!

— Ах, ослы... — Старший сержант Нунес улыбается, польщенный. — Ну и ослы же вы...

Так за беседой и шутками военные коротают время, как и положено после тяжких трудов на маневрах. И пока они наслаждаются отдыхом, стайка детей во главе с Нелиньо и Анжелиной идет по поселку Серкал Ново, направляясь прямо к кафе «Модерн», где находятся недавние выпускники военных училищ.

Они бегут с радостными криками, прижимая руки к груди, словно в ладонях у них трепещущая птица или волшебное гнездо, но не игра и не шалость вдохновляют их. Они несут невзорвавшуюся запальную трубку, и вместе с ними — похожая на тень оборванная старая Либерата. Да и где еще могла быть эта маленькая старушонка, которая всегда все видит и все знает?

Либерата с ватагой останавливается у дверей кафе, Анжелина входит внутрь. Она идет между столиками и поглядывает на будущих офицеров, которые наводят глянец на сапоги, пьют пиво или играют в покер. Или пишут письма домой, или листают иностранные журналы, кое-кто даже занимается, готовясь к новой жизни, ожидающей их потом, вне этого заколдованного круга церемониальных маршей и караулов. Вообще, несмотря на офицерскую форму, несмотря на то что через несколько месяцев их произведут в офицеры, все они перед лицом казарменных распорядков чувствуют себя ближе к рекрутам. Эти молодые люди, оторванные от своих занятий, от своих невест или от своей службы, скорее солдаты, чем командиры. Зная, что они еще не

настоящие вояки и при деньгах, Анжелина смело обращается к ним:

— Господа кадеты, купите на память!

Запальная трубка без капсюля, ставшая безопасной, превращается в историческую ценность. В воинский амулет, так сказать, в оригинальную безделушку, пресс-папье или еще что-нибудь в этом роде. Анжелина предлагает трубку всем подряд, как вдруг несколько офицеров окликают ее с улицы:

— Девочка, а девочка!

Недоверчивая Анжелина все же потихоньку пятится к выходу.

— Иди же, дуреха! — подбадривает тетушка Либера, впиваясь ногтями в ее руку.

Анжелина подчиняется. Старуха, тихонько подталкивающая ее, девочка с опущенными глазами, вся побагровевшая от стыда, предстают перед офицерами, прогуливающимися у кафе. Рыжеволосый капитан с козлиной бородкой отделяется от группы и протягивает руку к запальной трубке.

— Brave girl¹, — произносит он, ласково потрепав Анжелину по щеке. — Храбрая де-воч-ка.

Все смеются, и старуха тоже. Но лишь потому, что видит, как смеются другие, или, скорее, по причине, очень хорошо ей известной.

XXIV

Продажа запальной трубки у дверей кафе «Модерн» имела, если угодно, символический смысл. Ее можно было расценить как выражение признательности ребенка из Серкал Ново к почетному гостю, сопровождаемому целым эскортом майоров и капитанов. Анжелина передала ему в руки доказательство своей смелости, а гость в свою очередь презентовал ей кредитку и блестящую монету. Вот как оно было.

— Brave girl... Храбрая девочка.

В этот тихий час, когда трудовой день в казарме

¹ Храбрая девочка (англ.).

закончился, рекруты слонялись по городу. В лавках было полно солдат, на автобусных остановках торговцы ожидали свежие газеты, кокетливые девушки прогуливались под ручку по улице, что-то шепча друг другу на ухо и негромко хихикая; каждая делала вид, будто ее ужасно интересует болтовня подружки. Так выглядел после заката солнца военный поселок.

Лишь Анибал с сыном бродили поодаль, в стороне от слоняющихся по улицам солдат. Они стучались в дома, предлагая лавочникам и просто жителям купить у них охотничье ружье, но всякий раз по той или иной причине получали отказ.

— Ничего не поделаешь. Придется, видно, предложить его торговцу железным ломом, о котором ты говорил, — вздохнул Анибал.

Сумерки сгущались, с солдатского календаря слетел еще один листок. Портела в лазарете очнулся (одному богу известно как) и беззвучно рыдал, пытаясь нащупать под одеялом свою ногу; Козлиная Борода со свитой прогуливался по шоссе; верзила сержант, высоко вскидывая татуированные руки, бросал ребятишкам мелкие монеты.

Равнодушные к этому зрелищу, Анибал с сыном обходят в поисках старьевщика окраинные улочки; буйные сорняки заплонили все кругом, на порогах домов сидят женщины и вычесывают из волос насекомых, хотя уже начинается темнота. Из последней лачуги, стоящей на отшибе, почти в открытом поле, опрометью выскакивают два солдата с брюками в руках. Они улепетывают, словно перепуганные зайцы, а вслед за ними с гиканьем несется орава девиц.

Глядя, как накрашенные девицы бегут по улице, угрожающе сжимая кулаки, старик не преминул вспомнить о женщинах в прежних военных лагерях.

— Нет сомнения, эти потаскушки заменили теперь маркитанток. Пошли дальше.

Они двинулись вперед — город давно остался позади — и вскоре очутились перед хижинкой, сколоченной из сосновых досок.

— Здесь, — сказал Абилио.

— Кто там? — крикнул чей-то голос, едва они заглянули в дверь.

Отец и сын замерли. Они искали глазами того, кто их окликнул, но полутьма в захлавленной лавке не давала возможности что-либо разглядеть.

— Что вы хотите? — снова спросил голос из темноты, и только тут они увидели мужчину, который копошился в глубине комнаты, точно курица в навозной куче, разгребая груды железного лома.

— Мы по делу, — ответил Абилио с порога.

Старьевщик — а это был он, — оставив свое занятие, направился к пришедшим. Должно быть, у него болел позвоночник, потому что шел он, согнувшись в три погибели и отставив зад. Это, а также привычка кивать при ходьбе еще больше усиливали его сходство с курицей.

— Я солдатского ничего не принимаю, — придерживая рукой щеколду, начал он, чтобы сразу внести в дело ясность.

Анибал протянул ружье:

— Вот посмотрите.

— У вас есть удостоверение?

— Да, сеньор. Полный порядок. Разрешение на охоту оплачено до конца сезона.

Удовлетворенный ответом, старьевщик впустил только старика, сын остался на улице.

— Подождите за дверью, — обратился он к Абилио извиняющимся тоном. — У меня нет никакой охоты связываться с военными.

Они прошли в заднюю комнатку договориться о цене. От торговца несло порохом и резким запахом нагретого металла.

— Гм... — протянул он, прикидывая стоимость двустволки. — Гм...

Он проверил оба ствола, щелкнул затвором, оттянул курок и, хорошенько все осмотрев, назначил цену, как и следовало ожидать, крайне низкую.

— Старая модель, — прибавил старьевщик, точно оправдываясь.

Бедняга Анибал при всем желании не мог согласиться на столь ничтожную сумму. Прежде всего, требовались деньги для возвращения в Спмадас, затем нужно было купить штаны и костыль для Портелы, и наконец, он решил в ближайшее время заказать в Бежа

деревянный протез. Следовательно, нужны были по крайней мере четыре бумажки.

Пока он производил подсчеты, торговец железным ломом, оставив старику ружье, принялся кружить по лавчонке, притворяясь, будто с головой ушел в поиски какой-то рухляди. Роясь в грудe хлама, он извлекал то бумагу, то моточек проволоки. И все расхаживал по комнате, отставив зад и беспрестанно кивая головой.

После долгих торгов они все же сговорились. Анибал получил деньги и пару тиковых штанов, поношенных, но в приличном состоянии.

— Это же солдатские брюки, — сказал, увидев их, Абилио. — Заверни штаны получше в газету, не то подумают, что я их стянул.

— Не волнуйся, таких штанов у старьевщика хоть завались, — успокоил его старик. — Штанов, сапог и ремней. Я даже шинели видел.

Еще он видел осколки снарядов, скромно лежащие в уголке, но промолчал об этом: не хотелось вспоминать Нелиньо и его банду.

— У него там чего-чего только нет, — пробормотал Анибал.

Абилио тем временем твердил, как опасно покупать солдатские вещи без свидетелей. Ему уже мерещилось наказание: вычеты из жалованья, отсидка в карцере. Он был солдатом, и этим все сказано.

— Не волнуйся, сынок, не волнуйся...

Они поднимались по улочке, где женщины с распущенными волосами, сидя на пороге, искали в головах друг у друга, и, когда проходили мимо, окошки распаивались, и в спину им неслись задорные крики.

Они не поворачивались, не отвечали. Они шли по-нурясь, каждый занятый своими мыслями. Сын забыл о возможном наказании и о казарме и мечтал о цветастых ситцевых занавесках и надушенных комбинациях с кружевами, о девушках из балагана на ярмарке и о других — в халатиках, с сигаретой во рту. Отец нащупывал в кармане ассигнации, завязанные в платок, тот самый платок, в котором он носил черепаху и который все еще сохранял запах болотной тины. Он слышал

смешки и приглашения девиц, но уже не сравнивал их с маркитантками, что в прежние времена были неотделимы от армии. Теперь перед глазами у него стояла мертвая черепаха со свисающей из панциря тонкой, как кишка, шеей. Сколько времени проносил он в кармане этот трупик, обернутый в саван из платка?

Оба, старик и солдат, брели вдоль дороги молча, словно чужие. Шаг за шагом удалялись они от мусорной кучи окраин; впереди их ожидало шоссе, бесконечная артерия, пересекающая равнину из конца в конец, пустынное место, которое оживляли лишь автобусы, торговцы, прохожие, американцы, кокетливые девушки, а там, еще дальше, ждала их койка в лазарете, будто вдавленном в мрачное здание казармы.

— Оно уж не так часто было нужно мне в последнее время, — неожиданно сказал Анибал. — Но никто не станет отрицать, что прежде оно служило мне верой и правдой. Один только я знаю, как оно меня выручало.

Абилио догадался, что отец говорит о ружье. И предпочел промолчать. Они уже были на главной улице Поселка. И требовалось срочно обсудить, что делать дальше: где заморить червячка и как распределить деньги, вырученные от продажи ружья. Но старый Анибал остановился и, освещенный тусклым отблеском огней кафе и таверн, продолжал говорить.

Он говорил, что давно пора было расстаться с двустволкой, что он давно уже чувствовал, как дрожит рука, и, если уж быть искренним до конца, зрение у него начало сдавать. Возраст дает себя знать.

XXV

Как только Портела пришел в себя, санитары в белых халатах перенесли его в сад позади лазарета и посадили в тени около каменной ограды, поставив рядом кувшин с водой.

Если они и пытались утешить его (а вполне вероятно, что так оно и было), старания их ни к чему не привели. Военным и штатским, случайным прохожим и даже офицерам, появлявшимся в этом тихом уголке,

Портела отвечал неохотно, не поднимая головы. Он окидывал взглядом свою фигуру: одна нога вытянута, другой почти нет, и штанина подвернута и заколота английской булавкой. Ничто вокруг его не интересовало; даже на мух, сильно досаждавших ему, он не обращал внимания.

Однажды Портеле привиделся странный сон: юркую ящерицу на песчаной равнине преследовала крыса (или какой-то еще зверек). Самое удивительное заключалось в том, что ящерке, живой и подвижной как ртуть, бесхитростной и веселой, удавалось убежать от ядовитых зубов врага, и она продолжала резвиться без устали, радостная и беззаботная, даже не оборачиваясь назад. Она считала, что забавляется, а между тем хвост у нее был весь искусан, но она не знала, не чувствовала этого. Яростные укусы волосатой крысы, которая всякий раз, когда ящерка пробегала поблизости, стремились схватить ее зубами, казались той всего-навсего незначительными царапинами.

Она забавлялась, кружилась как безумная, и вдруг, в самом разгаре игры, кончик хвоста у нее отделился и запрыгал по песку. Ящерка снова забегала и потеряла еще кусок хвоста, потом еще, еще и еще. И вот она уже снует среди множества извивающихся кусочков и, счастливая, играет с ними, не замечая, что тело ее изранено, и не давая себе труда оглянуться назад...

Вот какой сон привиделся Портеле, и при одной мысли о том, что сон может повториться, его бросало в дрожь. Если этого еще не случилось (по крайней мере до сих пор), то лишь потому, что Жоан Портела все время был настороже. Даже когда он дремал в тени у каменной ограды, ему удавалось мгновенно пробудиться, едва он чувствовал приближение кошмара, где резвая ящерка опять забегает среди множества трепещущих кусочков своего хвоста.

Жоан Портела сидел на земле, точно нищий, просящий подаяние на ярмарке. Перед его глазами были ряды гостиничных окон с роскошными гардинами, а у его ног в явном нарушении тишины сада прыгали воробьи. Они подскакивали совсем близко, не раз он мог бы достать их рукой, но это ничуть не смущало

птиц, они уже привыкли к неподвижно сидящему человеку и, как считал Портела, инстинктивно чувствовали, что перед ними несчастный калека. «Это в порядке вещей,— думал он.— Они уже догадались, что я им не опасен».

Сад, в котором находился Портела, сад для офицеров, где почти не ощущалось казарменного духа, напоминал монастырский двор или небольшой старинный парк, уединенный, с буйно разросшимися кустами роз, пчелами и непугаными птицами. По одну сторону ограды гордо и торжественно высилась гостиница, по другую притулился Портела, осаждаемый тучами мошкары. А сверху царило безоблачное спокойствие летнего дня.

Как-то вечером, когда он, по обыкновению, сидел среди цветочных клумб, одно из окон отворилось и послышался быстрый стрекот пишущей машинки. Наверху, в просторном зале библиотеки, кто-то работал, и этот кто-то был Галлахер, американский капитан; поставив перед собой бутылку виски и пепельницу с дымящейся сигаретой, он сочинял отчет о вооружении солдат Серкал Ново. Спрашивается, что же он писал?

Разумеется, секретное донесение. В обычной своей манере, с помощью цифр и таблиц он повествовал о встречах с доблестными воинами в определенных пунктах и при определенных обстоятельствах. О смерти и о солдатах — вот о чем он вел свой рассказ, сочетая самым тесным образом эти понятия.

А ведь смерть и зрелище смерти ненавистны человеку, даже вооруженному. Достаточно поглядеть на Анибала и его слушателей во дворе казармы.

— Вы считаете, он выкарабкается? — беспрестанно спрашивают слушатели, разделяя муки раненого крестьянина. И моргают, хмурят брови, взволнованные рассказом старика.

— Вы думаете, он выкарабкается, ваш друг?

То же самое, хотя и другими словами, говорил часовой, когда навещал в лазарете Портелу; то же вольновало санитаров, ведь они были не шакалами в белых халатах, а рекрутами, людьми. А тихий шепот врачей, возглавлявших процессию, которая следовала в опера-

ционную с Жоаном Портелой на носилках? Разве не помог он отогнать смерть, спасти раненого от судьбы, уготованной всем храбрым солдатам?

Конечно же, помог.

Испытывая к страдальцу жалость, а отнюдь не презрение, окружающие Анибала солдаты не считают, будто смерть дает смысл их ремеслу, будто жестокость по отношению к врагу оправдана. («К врагу? Какому врагу?» — поспешил бы задать вопрос капрал Три-Шестнадцать, державший в трактире речь перед облаченным в траур хозяином.)

Нет, они придерживаются иного мнения. Но Галлахер писал свой отчет, не прислушиваясь к словам солдат. Он курил сигарету за сигаретой, отстукивал на машинке страницу за страницей, сочиняя хвалебную оду в честь доблестных воинов и победоносного оружия.

Отпечатав несколько страниц, он хлебнул из бутылки и подошел к окну подышать свежим воздухом. Внизу, прислонившись спиной к покрытой царапинами ограде, Иов созерцал пустыми глазами, как на землю опускаются сумерки и прыгают вокруг него воробьи.

XXVI

Тем временем в мастерской при казарме столяр, солдат с добрым сердцем, занимался изготовлением костыля для Портелы. Он делал его из ясеня, чтобы он был легкий и прочный, как и полагается костылю, но секрет состоял в том, чтобы точно рассчитать длину обеих палок, точно поместить поперечную планку и, уж конечно, поудобнее приладить подушечку. На консультацию позвали шорника, который заявил:

— Лучше всего, по-моему, смастерить костыль из алюминия. Сейчас почти все костыли делаются из металла. Вот хотя бы у сына аптекаря, зачем далеко ходить за примерами.

— Это отпадает, — возразил столяр, — за металлический костыль я не возьмусь. Прежде всего, потому, что у нас нет алюминиевой трубки и никто не сумел бы ее спаять, а потом я уже набил руку на деревянных

костылях и вдобавок отыскал великолепные куски ясени, такие не часто встречаются.

— И кроме того, речь идет о временном костыле, — ввернул Анибал.

— Тем более. Чтоб парень мог передвигаться, пока не будет готов протез. Насколько я знаю, у сына аптекаря положение совершенно иное.

Закрывшись в столярной мастерской, оба мастера подробнейшим образом обсуждали проблему. Сначала старик опасался, что, войдя во вкус, они забудут о работе. Однако, поняв, что спор этот происходит между двумя знатоками, между людьми добрыми и истосковавшимися по делу, которым они занимались до военной службы — а тут подвернулся случай потолковать, — старый Анибал облегченно вздохнул. Наконец обо всем договорились, теперь каждый мог взяться за работу.

Так и поступили. Шорник бог весть откуда раздобыл кусок превосходно выделанной телячьей кожи, кузнец достал для подушечки конский волос, отрезанный от гривы самых сытых лошадей, столяр обеспечил древесину, а старик остальное — вино и компанию.

Все принялись за работу. Почти целый день Анибал проводил у столяра в мастерской (это был хитрый способ не давать ему лентяйничать и по дороге навещать Портелу в офицерском саду). Анибал всегда старался сообщить ему какую-нибудь новость, рассказывал забавные истории, пересказывал по памяти письма, которых никогда не получал, и не скупился на обещания. Иногда Портела, не в силах больше сдерживаться, обрывал его:

— Да замолчите вы ради бога!

Старик, уже успевший поверить в свои басни, сочиненные, чтобы утешить друга, спохватывался и возвращался к действительности. Понурив голову, он медленно плелся в столярную мастерскую.

Он шел по мрачным коридорам, от часового к часовому, пытаясь придать себе непринужденный вид заведомая. Но в глубине его души таилась горькая обида, потому что иным представлял он себе (может быть, с чьих-то слов) прием, какой оказывают родственникам солдат, — совсем не то, что в казармах Эворы в да-

лекую эпоху драгун. Анибал прекрасно понимал, что здесь, в Серкал Ново, двери распахиваются не перед отцом солдата, а перед товарищем пострадавшего: и только в этом качестве он удостоивается любопытных взглядов и некоторого участия.

«Мне кажется, я тоже ранен, как и он,— твердил старик про себя в те минуты, когда вспоминал свои прежние мечты о достойном приеме в казарме, где его сын служит родине.— Мне кажется, я тоже ранен, тоже ранен...»

И в мастерской, в разговоре со столяром, он признавался:

— Честное слово, я говорю совершенно искренне. Если бы от меня зависело, я бы не знаю, что отдал. Я бы собственной ноги не пожалел, лишь бы не видеть того, что я видел.

— Охотно верю. Часто тот, кто видит чужие страдания, мучается сильнее того, кто страдает. Сколько лет парню?

— Двадцать восемь или двадцать девять,— ответил старик.

— Он женат?

— Холост да еще нетвердо стоит на ногах. Почему так все нескладно получается в жизни?

Столяр вынул из токарного станка обточенную деталь, как раз ту, что должна была служить опорой для костыля. И пока он ее разглядывал, прищурив один глаз, размышлял вслух:

— Иногда мы видим зло там, откуда приходит спасение. Как знать, может, мы сейчас готовим ему средство зарабатывать на жизнь?

Он положил деталь на скамейку и, заметив на лице старика недоумение, пояснил:

— Каждый использует то, чем располагает. В этом нет ничего дурного, правда? И раз уж с ним приключилась беда, костыль по крайней мере кое в чем ему поможет.

— Поможет попрошайничать? — Анибал обиженно вскинул глаза на столяра.— Прошу вас, никогда не говорите при мне о подобных вещах.

Но не о милостыне думал столяр. Он думал о том, что Портела сможет зарабатывать себе на хлеб, как

и всякий другой, а костыль лишь обеспечит ему более твердое положение.

— Например, всем известно, что некоторые занятия не годятся для молодых парней. Ну хотя бы продавать гороскопы. Парня его лет, торгующего гороскопами, осмеяли бы. А калеку? Калека — другое дело, его легко оправдать. Он может продавать гороскопы, лотерейные билеты, освященные просвирки, никто его не осудит.

— Я предпочел бы, — сказал старик, — чтобы он продавал брошюры и журналы.

— А почему бы и нет? Почему бы ему не продавать брошюры и журналы? По-моему, товар очень ходкий и легко сбывается на ярмарках.

— Превосходный товар! Мне думается, такое занятие Жанико больше других подойдет.

Столяр снова вернулся к работе и, склонившись над рубанком, добавил:

— К тому же не забудьте, что у калеки иная жизнь, чем у остальных. Меньше женщин, меньше попок, ему, бедняге, такое не под силу. А ведь если рассудить хорошенько, от этого только экономия.

— Правильно, — согласился Анибал. — Тем более что для такой торговли поначалу и денег-то не много потребуется. Достаточно только отобрать подходящие брошюры, рассказывающие о наиболее достоверных, наиболее правдивых историях. Но и в этом не будет трудностей, я-то всегда рядом...

Закрывшись в мастерской, старик и столяр терпеливо мастерили костыль для Портелы, тот самый, с помощью которого ему предстояло зарабатывать себе на хлеб. Рубанок скользил по белой древесине, над верстаком звучали бодрые слова, и в глазах Анибала появлялся утраченный блеск. Они становились такими же зоркими и провицательными, как во время охоты на куропаток, когда у него еще было ружье.

XXVII

Отель на берегу моря, восход солнца. Галлахер, капитан с козлиной бородкой, курит у окна свою утреннюю сигарету.

Гостиница еще спит, покачиваются на волнах рыбацкие суденышки с зажженными фонарями, застигнутые в бухте первыми лучами солнца. Море колыхнется лениво, безмятежно, и славный капитан вспоминает в чужом краю о других берегах и других путешествиях.

«Эта маленькая страна,— написал он жене в Каламазу, штат Мичиган,— на всем своем протяжении представляет собой пляж, в чем ты можешь убедиться, взглянув на хорошую карту. Достаточно, если я скажу тебе, что береговая линия простирается с севера на юг более чем на пятьсот миль и песок здесь на редкость мелкий, я нигде подобного не видел, даже в Италии. Подумай, как чудесно было бы провести в этой стране отпуск вместе с детьми! Жизнь тут дешева и спокойна, и португальцы, хоть они и не очень веселые, народ гостеприимный. Поверишь ли, darling¹, я начинаю всерьез подумывать над этим...»

Письмо, уже готовое к отправке, в конверте с наклеенными марками, лежит на кровати. Галлахер писал его понемногу, несколько строк каждый вечер, подробно отражая случившееся за день, будто делал записи в бортовом журнале.

«Грешно жаловаться,— можем мы прочесть в одном месте,— на мой страусиный желудок, он превосходно справляется со своими обязанностями. Замечу только, что я постоянно испытываю жажду; впрочем, меня это забавляет. Пари держу, что, останься я здесь еще на неделю, я бы смог вышить целый ящик великолепного *bourbon*...² Сержант (кажется, я тебе уже рассказывал о нем, это тот самый Алабама Джек, что был со мной в Пиаве) тоже начинает ощущать жажду и объясняет это климатом. Я не спорю, но мне кажется, виновата местная кухня, пряная и жирная, как у арабов. Во всяком случае, darling, желудок у меня работает о'кей, на все сто процентов, и никаких нарушений в области печени не наблюдается. Удивительная адаптация, ты не находишь?»

Письмо было закончено накануне, в день отъезда из военного городка. Здесь, в номере, капитан дописал вто-

¹ Дорогая (англ.).

² Сорт кукурузного или пшеничного виски.

ропях две-три строчки, после того как нанес визит вежливости в южные укрепленные районы; визит этот скорее напоминал прогулку по раскаленным углям, шоссе в дрожащем мареве чуть не плавилось от жары.

— Зона вечнозеленых дубов, — объяснял переводчик, сидящий рядом с шофером. — We are just going through the real cork country. Look over there, sir; the cork oaks¹, пробковые дубы.

Галлахер повторял за ним, кивая головой.

— Пробочные дубы, пробочные дубы... I see², — твердил он, — I see.

Они обогнали цыганский табор, мужчины ехали верхом на косматых осликах, босые женщины шли пешком; потом увидели патрульных Национальной гвардии (таких же, как Леандро); мотоциклистов-полицейских в их грозном облачении; колодцы с журавлями и караван туристов; потом рисовое поле, немного подальше — коров, мирно пасущихся на лугах.

— I see, I see...

Сержант ни в какие разговоры не вступал. Он ехал по своему обыкновению молча и не переставая жевал резинку.

До наступления темноты капитан с адъютантом в сопровождении португальцев проехали всю степь до самой границы. Лейтенант-переводчик жужжал, почти не отставая от автомобиля, казалось, его стремительная речь была голосом проносящихся мимо полей — ни одна мелочь не ускользнула от его взгляда, даже самого беглого. Галлахера убаюкивало это непрерывное жужжание, однако он успевал замечать не только красивые пейзажи, мелькающие с головокружительной быстротой, о которых говорил лейтенант. Совсем напротив. Сонный взгляд капитана Козлиная Бородка запечатлел привычные для конкистадоров из Нового Света слова: «Go home»³.

«Go home», казалось, повторяли автомобили, на бешеной скорости проносящиеся совсем близко от над-

¹ Мы проезжаем через страну пробкового дуба, посмотрите, вот пробковый дуб, сэр, пробковый дуб (англ.).

² Я вижу, вижу (англ.).

³ Убирайтесь домой (англ.).

писей, словно хотели их стереть. Go home — жжик! Go home...

На первой же остановке сержант злорадно шепнул на ухо Козлиной Бородке:

— Did you notice, captain? ¹ Оказывается, эти невежды умеют писать по-английски.

Галлахер кивнул в ответ равнодушно, без раздражения.

— Sure, sure ².

Вечером к письму жене, все еще лежавшему незапечатанным на кровати, он приписал: «Мы ехали, dear Mammy ³, со скоростью сорок пять миль в час и почти все время по пустынным, лишенным всякой привлекательности местам. В основном мы следовали по маршруту генерала Риджуэя, недавно посетившего Португалию».

«Слишком сдержанно», — признался он себе, перечитав письмо, однако запечатал его и лег в постель. И вот капитан стоит у окна, выходящего на море, и шепчет:

— Тысячу извинений, darling. С каждым разом мои письма все больше походят на военные рапорты. Что там такое? Рыбаки?

Внизу среди скал бродят ловцы осьминогов, закидывая удочки с напизанными на крючок лоскутами. По пояс в воде, они медленно бредут вдоль побережья, низко пригнувшись, чтобы видеть дно. Иногда им удается поймать осьминога, они срывают его с крючка и выходят на берег, оставив руку, оплетенную щупальцами ленивого животного. Рыбаки ловко сворачивают ему голову, и — прощай осьминог, прощай навсегда, прожорливое чудовище, ослепленное и парализованное.

Уже совсем рассвело. Дети у самой воды поджидают молчаливых рыбаков. Взметнувшись в воздух, спруты падают на мокрый песок, и мальчишки мучают их, ударяют о камни или забавляются агонией этих холодных обитателей моря, пробуя силу их присосок на собственных ладонях. Наблюдая за ребятами из окна, Галлахер вспомнил о девочке с льняными волосами, которая за восемьдесят пять сентимо предложила ему у кафе в Серкал Ново запальную трубку, смертоносный кусок

¹ Вы заметили, капитан (англ.)

² Конечно, конечно (англ.).

³ Дорогая мамочка (англ.).

железа, способный разрушить танк или логово врага.
«Bravo soldadito, nice kid»¹.

Похищенная у песков полигона, запальная трубка ожидает в номере отеля обратного путешествия в страну, где она была изготовлена. Где-то она будет завтра? Над океаном? Или в руках у сыновей Галлахера, что смотрят с фотографии на ночном столике?

Когда сержант впервые взял в руки запальную трубку, он назвал ее First kiss², этим именем ее и окрестили. First kiss, первый поцелуй новых артиллерийских снарядов земле, с которой начинается Европа.

Это и в самом деле подходящее название, признал Козлиная Бородка. Прекрасное название для военной операции, для маневров, а уж тем более для запальной трубки. Наступление First kiss... Снаряд-сувенир First kiss... Спасибо сержанту за блестящую идею. Congratulations, Jackie boy³, и он улыбнулся, словно действительно поздравлял сержанта. «Но она тебе все-таки не досталась,— добавил он про себя,— что правда, то правда. Мне очень жаль. Sorry, Jackie»⁴. «Three bucks»⁵,— предложил сержант за трофей First kiss и поднял цену до четырех и пяти долларов, надеясь соблазнить капитана деньгами. «Пять долларов, о'кей?»

Сама по себе отвоеванная обратно запальная трубка «Первый поцелуй» ничего не стоила. Тем не менее неприметный, жалкий сувенир, кусок необработанного металла, приобрел в глазах владельца какую-то ценность, и Галлахер обращался с ним бережно, проникнувшись каким-то необъяснимым нежным чувством. Трубка станет реликвией, военным амулетом и, может быть, будет красоваться под стеклом в музее того самого завода, где ее сделали, или стараниями миссис Галлахер и ее подруг появится в клубе на ежегодной выставке домоводства.

«На выставке ей не бывать,— решил, поразмыслив, капитан.— Этих дурых ничто, кроме куриного заливного, не интересует».

¹ Храбрый солдатик (исп.), прелестный ребенок (англ.).

² Первый поцелуй (англ.).

³ Поздравляю, Джекки, мой мальчик (англ.).

⁴ Извини, Джекки (англ.).

⁵ Три доллара (англ. сленг.).

XXVIII

Около полудня, одевшись, капитан Галлахер кликнул коридорного и велел вызвать такси. Стоя у порога, коридорный выслушал приказание, почтительно поклонился и вышел. *A moment, sir*¹.

Вытянувшись в струнку, как и подобает вышколенному слуге, он размеренным шагом дошел до конца коридора, но, завернув за угол, бросился бежать как полоумный, только пятки засверкали; запыхавшись, он примчался на эспланаду около отеля.

— Постоялец из номера шестого собирается ехать в город!

Он подскочил к группе женщин, возившихся у папаша, и, нелепо растопырив руки, начал оглядываться по сторонам, точно в поисках спасательного круга.

— Скорее, сотрите это!

В тот же миг неизвестно откуда появился швейцар.

— Живее, черти, не теряйте времени!

— А вы сами попробуйте, можно ли это сделать быстрее, тогда и указывайте, — огрызнулись в ответ жепщины, не отрываясь от работы.

Швейцар решил попробовать. Он взял проволочную щетку и присоединился к уборщицам, которые яростно атаковали стену, вооруженные мочалками, ведрами с водой, ножами и щелоком. Но надпись не поддавалась, хотя и была совсем короткая, да еще рожица с козлиной бородкой и рогами, в спешке нацарапанные на стене «*US go home!*»².

— Поторопитесь, — зывал коридорный, воздев руки к небу.

Ему вторил администратор:

— Пошевеливайтесь, сотрите эту пакость.

— Не получается, — пожаловался швейцар. — Краска глубоко въелась в камень.

Он выпрямился и, увидев рядом с собой администратора, остолбенел от ужаса. В своей ливрее с галузами он походил на посрамленного адмирала, которого заста-

¹ Сю минуту, сэр (англ.).

² Американцы, убирайтесь домой! (англ.)

ли с щеткой в руках среди выпачканных известкой матросов.

Администратор, как нетрудно себе представить, был в замешательстве. Он суетился, отдавая распоряжения, но карикатура и проклятая надпись «go home» не исчезали, словно издеваясь над ним.

— Скребите паразет, вырубайте буквы, ничего не жалейте! — кричал он. И тут же вцепился в коридорного: — Задержи его. Протяни время. Стой в коридоре и не выпускай под любым предлогом. Пусть это будет важное сообщение из-за границы... Что угодно.

Пришел слесарь с инструментами, затем — повар с ножом. Напрасно. Оскорбительные слова никак не удавалось уничтожить, и положение с каждой минутой становилось все напряженнее.

— Какой скандал! — сокрушался встревоженный администратор. — Какой скандал!

И пока он рассказывал взад и вперед, обхватив голову руками и тщетно пытаясь найти какой-нибудь выход, портье осмелился предложить:

— А что, если повесить этот кусок стены?

Администратор ухватился за эту идею, словно утопающий за соломинку:

— Да, да, повесить! Только чем? Погодите, у меня валялась где-то афиша. Реклама авиационной компании.

— Она слишком мала. Сюда нужен по крайней мере флаг.

— Правильно, флаг. Принеси его побыстрее из канцелярии.

Вот почему капитан Юстас Х. Галлахер из Каламазы, штат Мичиган, выходя из гостиницы, неожиданно оказался перед великолепным знаменем, закрывающим добрую половину стены у эспланады.

«Дань уважения», — подумал он и покинул отель.

Он не придавал большого значения случившемуся, если бы под вечер сержант, его верный помощник, не отозвал бы его в сторонку, чтобы сообщить нечто важное. Они понимали друг друга с полуслова, и вскоре оба с беззаботным видом прогуливались перед завешенной флагом стеной.

Незадолго до ужина капитан вошел к себе в номер и позвонил администратору:

— Закажите мне такси. Я переезжаю в другую гостиницу.— Он говорил по-английски. Ему было равным счетом наплевать, понимают его или нет.

XXIX

В тени букового дерева, старого букового дерева, сидели два путешественника. Из Серкал Ново они добирались на попутном грузовике с соломой; их подбросили до Сантьяго, точнее, до площади Сантьяго. Доехали без приключений — Портела в кабине между шофером и его напарником; Анибал в кузове на соломе, он пересекал равнину под самыми кронами деревьев, и ближе чем когда-либо к аистам, медленно пролетающим над полями. При каждом толчке грузовика ему казалось, будто он сидит в соломенном гнезде на ветке, вздрагивающей от ветра. Представьте себе старика в мягкой колыбели, под которой стремительно бежит земля.

В Сантьяго Анибал едва успел поблагодарить шофера: как только водитель с напарником поставили калеку на землю рядом с какими-то двумя незнакомцами, он оттолкнул их и тут же, на глазах у всего городка, пустился чуть ли не бегом, опираясь на свой костыль. Анибал бросился за ним вдогонку.

— Постой, Жанико. Автобус уже подходит.

— Мы подождем его на следующей остановке,— возразил Портела,— у меня все тело затекло от сидения.

Старик не захотел с ним спорить и безропотно последовал за товарищем. Он и верил и не верил объяснению Портелы, но про себя решил, что поспешность эта вызвана страхом перед людьми и их праздным любопытством. Что ж, Портела был прав, и Анибал не мог не признать этого. «Ведь парень ни с кем и словечком не перекинулся с тех пор, как вышел из госпиталя. Он подавлен, нервы напряжены. Так что ничего удивительного».

Они прошагали целый час, не проронив ни звука, оба молчали, словно набрав в рот воды. Старика мучили

угрызения совести, он боялся обидеть друга, а тот, весь взмокший, тащился под безжалостным солнцем, извиваясь, как червяк, и у него не было ни сил, ни охоты разговаривать. Портела ковылял, палягая всей тяжестью на костыль; неровно и резко бросая свое тело из стороны в сторону, лавировал между обочинами дороги, словно лодка с одним веслом.

— Не переутомляйся,— предупреждал его Анибал.— Когда устанешь, давай передохнем.

Портела, не отвечая ему, продолжал идти. Он вел борьбу с костылем, и это сражение, наполнявшее его гордостью, заставляло двигаться вперед, шаг за шагом, даже когда голова начинала кружиться от мелькания костыля на асфальте. «Мне нужно привыкать к этой палке,— повторял он ежеминутно.— Нужно привыкать, нужно привыкать...»

В тени букового дерева измученный до оцепенения Портела наконец отдохнул. Рука, которой он сжимал костыль, была стерта до живого мяса.

— Оберни руку платком,— посоветовал Анибал.

Они расположились под деревом и достали из мешка провизию — вино, сыр и хлеб, черный солдатский хлеб.

Так они и сидят. Подошел один автобус, затем второй, а Анибал с Портелой все жуют, уставившись перед собой, и, кажется, не собираются покидать приютивший их бук. Они завтракают без аппетита, тщательно пережевывают пищу; Жоан Портела сидит прямо, опираясь о ствол дерева, а старый Анибал что-то чертит на земле кончиком ножа. Глаза их неподвижны, они думают.

— Мне почему-то не хочется возвращаться домой,— заявляет старик.— Сам не пойму почему, а вот не хочется.

Он говорит не спеша, не переставая чертить на земле, словно тщательно записывает то, что произносит:

— К счастью, это скоро пройдет. Если я правильно рассчитал, мы с тобой наладим жизнь раньше, чем ты предполагаешь. Главное — это везение и здоровье.

Он тут же раскаивается, что упомянул о здоровье, и исподтишка косится на товарища. Потом, поразмыслив

немного, понимает, что и о везении не стоило говорить, и торопится исправить оплошность.

— Важнее всего не утратить мужества, не пасть духом.

Портела внимательно разглядывает облака и рассеянно крошит корку хлеба. Больше всего на свете ему хотелось бы сейчас убежать от друга, скрыться куда-нибудь подальше, потому что он по горло сыт всеми этими утешениями и извинениями, ведь каждый считает своим долгом подбодрить его. Портеле тошно, но старик уже не может остановиться, опьяненный собственным красноречием. Он и не пытается сдерживать властно увлекающий его поток, продолжая что-то рисовать кончиком ножа.

— Мы остались живы, а это уже немало. Другие, хоть и не попадали в такую переделку, кончали хуже.

Еще одно неудачное слово — «переделка». Нож замирает, медлит какое-то мгновение, а потом снова принимается выводить неразборчивые каракули в пыли, среди муравьев.

— Знаешь, Жанико, нужно необыкновенно тонкое чутье, чтобы выбрать заранее то, что действительно окажется для нас подходящим. Я даже считаю, что все в жизни зависит от этой способности. Но как бы то ни было, мы с тобой располагаем теперь кое-какими деньжонками, а это необходимо в любом деле. Без денег нет смысла и начинать.

Линии, нанесенные ножом, сплелись в запутанный узор, и рука Анибала движется уже механически; Портела, не вникая в смысл его слов, продолжает крошить хлеб и разглядывать облака. Голос старика (а может быть, он идет от узора в пыли) все еще звучит в молчании гаснущего дня; Анибал говорит о мелочной торговле, о брошюрах, которые выгодно продавать в дни сельских праздников, о том, что для начала нужно иметь хоть немного денег. Он тараторит без умолку, бормочет что-то о заработке поденщика, сравнивая его с заработком ярмарочного торговца, оба заработка непостоянны, зато насколько приятнее торговать на ярмарке: веселая музыка, приключения, а иногда и удача. Под конец Анибал говорит о мужестве героев, в том числе королей и

вельмож; искалеченные в сражениях, слепые, безногие, они все равно внушали ужас врагам, достигали вершины славы и оканчивали свою жизнь в богатстве и роскоши — разумеется, происходило это в далекие времена, когда короли и вельможи командовали войсками.

— Ах-ха,— вздыхает Портела, прерывая монолог товарища. Он берет костыль и, опираясь на него и на дерево, пробует подняться. И вдруг, уже стоя, восклицает:

— Мог ли я когда-нибудь вообразить, что в Серкал Ново меня ожидает пуля!

Это жалобное восклицание заставляет старика растерянно умолкнуть, он вдруг теряет нить рассуждений и беспомощно смотрит на искалеченного друга, вытирая лицо тыльной стороной руки, все еще сжимающей нож.

Голос Жоана Портелы возвращает его к действительности.

— Вы хотите, чтобы я торговал брошюрами, дядюшка Анибал? — Он окидывает старика взглядом с головы до ног и скрежещет зубами. — Но дьявол вас поberi, разве вы забыли, что я не умею читать?

И злобно, с ненавистью смеется.

Старый Анибал, сидя под буком, слушает его молча. Он мог бы ответить, если бы захотел; он мог бы сказать товарищу, как говорил себе, размышляя о его будущем, что неграмотность здесь ни при чем, что кто-нибудь будет отбирать ему товар, журналы и брошюры. «Вероятно, я должен успокоить его», — решает Анибал.

Но Портела уже направился к остановке автобуса.

«Он уже лучше передвигается», — отмечает старик, видя, как решительно ковыляет Портела. И хватается за эту мысль: «Конечно, гораздо лучше. А тебе, Анибал, следует отдать должное этому парню».

XXX

«Надо отдать должное этому парню», — станет повторять отныне Анибал, восхищенный мужеством друга.

Он видел, как энергично орудовал Жоан костылем,

к которому еще не успел привыкнуть; видел его в автобусе, тихим и присмирившим; видел его теперь, готового прошагать до Симадаса по неровной, изрытой ухабами дороге еще не одну лигу.

— Торопитесь, дядюшка Анибал. В темноте мне еще трудней будет идти по этим колдобинам.

После того как они слезли на перекрестке, пришлось пробираться среди камней и зарослей ежевики, поэтому они брели медленно, не теряя надежды встретить какой-нибудь попутный транспорт.

— Не мешкайте, сеньор Анибал, идите быстрее. Если мы не станем прохладиться, то окажемся в Симадасе засветло, сами не заметим, как доберемся.

— Тоже правда,— соглашается старик, чуть поотстав, но все-таки не перестает оглядываться.— Я смотрю, не покажется ли на дороге подвода.

Жоан Портела негодует: мечты, опять мечты, старик, по обыкновению, строит воздушные замки — и устремляется вперед еще более энергично. Он так усердно работает костылем, что кровь выступает из-под ногтей, надоедливая болтовня спутника бесит его, от всех этих историй и посулов Портела еще острее чувствует себя обойденным, обманутым. Он хотел бы остаться один, но, разумеется, и думать об этом нечего. Время от времени Портела оборачивается, опираясь на костыль.

— Поторапливайтесь же, сеньор Анибал. Таким черепашим шагом мы приплетемся в Симадас затемно.

— Тем лучше,— бормочет про себя старик, однако не высказывает вслух своих мыслей. Единственное, чего он хочет,— это оказаться дома, избежав встречи с любопытными соседями; потом предложить товарищу кров и на другое утро обсудить с ним наедине перспективы на будущее. В ящике стола у него хранятся по крайней мере две подходящие брошюры (кроме «Истории мавров» и полдюжины разрозненных выпусков «Истинной трагедии графов де Тавора, окончившейся жестокой смертью, уготованной им королем»). Сам того не замечая, он опять отстаёт: «Эти книжки не годятся, надо купить другие, поновей. Ну... а «Приключения Жана де

Кале»? Куда я мог задевать «Жана де Кале» и «Трех горбунов из Сетубала»?»

— Где вы там, дядюшка Анибал?

Черт побери, парень ворчит. Надо отложить пока разговор о брошюрах и скорей догонять его. Пока что в их распоряжении «История мавров» и «Графы де Тавора». Начало совсем неплохое. Он покажет книги Портеле и объяснит ему, как вести торговлю, как жить дальше. После они займутся «Жаном де Кале» и забавными приключениями горбунов. Всему свой черед, и побеждает тот, кто умеет ждать. «Надеюсь, завтра волдыри и ссадины у парня пройдут. Во всяком случае, мне кажется, он к этому делу расположен и, если я не ошибаюсь, вполне сможет торговать книгами на ярмарках. И мужества ему не занимать. Что правда, то правда».

— Дядюшка Анибал! — вновь окликает его Портела. — Пошевеливайтесь, сейчас мы войдем в Муртал.

Инвалид опять подгоняет здорового. Анибал ускоряет шаг и лишь тогда замечает, насколько отстал от Портелы, пока мысленно блуждал по иным дорогам, по воскресным ярмаркам и тавернам, готовя во искупление скромное ремесло для искаленного крестьянина. Незаметно подкравшийся сумрак уже обволакивает их, когда Муртал с его нагромождением безмолвных стен на вершине холма остается позади.

— Поспешите же, сеньор Анибал!

Если попадешь в Муртал после захода солнца, дорога на Симадас кажется похожей на пересохшее русло ручья, на брешь в густом кустарнике. Пройдя по ней и свернув затем на тропинку, что ведет к постройкам усадьбы, можно через четверть часа оказаться в светлой каштановой роще. Там путника подстерегает огромная сторожевая собака, немецкая овчарка смешанных кровей; днем она спит, а по ночам караулит.

Наши путешественники отлично знают эти места и потому приготовились к встрече с собакой. Старик заслонил собою товарища и, услышав, что чудовище, прячась за кустами, неслышно приближается к ним, бросился с ремнем ему наперерез и запустил наугад камнем. Анибал промахнулся, однако пес, поняв, что его обнаружили, отступил так же тихо и осторожно, как появил-

ся. Отойдя на безопасное расстояние, овчарка села на задние лапы и, поскольку ей не причинили никакого вреда, принялась лизать шерсть и ловить блох. Потом, вспомнив о нанесенном ей оскорблении, протяжно завывала.

— Вот сукина дочь! — По вою Анибал догадался, что собака далеко и что она сильно раздосадована. — Давай, давай жалуйся, очень тебе это поможет.

Жоан Портела и рта не раскрыл. Оцепенев от страха, он вцепился обеими руками в костыль. Старик опять встал рядом с ним, настороженно прислушиваясь. «Неужели собака снова подкрадется?» — с тревогой думал калека.

К счастью, этого не случилось, хотя выла обиженная собака все громче. Внезапно послышался звон бубенцов, и в полутьме на дороге возникла маленькая легкая повозка, запряженная двумя сытыми мулами.

Анибал выскочил на середину дороги и растопырил руки, чтобы остановить повозку.

— Бог в помощь, дружище. Не найдется ли у вас местечка для больного?

Возница, откинувшись назад и натянув поводья, остановил мулов. Как и все, кто привык ездить на большие расстояния, он правил, почти касаясь коленями животных.

— Куда вам надо?

— В Симадас. Однако любое место поблизости нас тоже устроит.

— Гм-м-м,— протянул возчик. Анибал ожидает его решения и напряженно улыбается. Мулы трутся мордами друг о друга, трясая повозку и бубенчики на дуге. — Ладно, тащи своего больного.

Старику не нужно повторять дважды. В мгновение ока он подхватывает приятеля, сажает его в повозку, прислонив к деревянному борту, а сам пристраивается сзади, свесив ноги.

— Эй, Каррисо, трогай, голубчик!

— Чудесные мулы,— восторгается Анибал, глядя на бегущую под колесами ленту дороги. — Возможно, в других местах лучше ездить на лошадях. Но для наших ухаживать нет ничего надежнее мулов. Вот и цыгане только на них ездят.

Звон бубенцов и размеренная рысца мулов укачивают его. Никогда еще Анибала не сопровождала в пути столь незатейливая, чуть монотонная мелодия. «И все же в ней есть какое-то особое очарование: бубенцы все поют одно и то же, но прислушайся повнимательнее, и ты услышишь в этой песне все, что пожелаешь. Надо лишь прислушаться и напрячь немного память, вспомнить свои любимые песни», — заключает старик.

— До какого места вы едете? — спрашивает Портела у возницы, и тот, не поднимая головы, отвечает:

— В Лузадо.

— На ферму Мело?

— Да. Однако я могу сделать крюк и подбросить вас в Симадас.

— Большое спасибо, — благодарит старик. И Портела вторит ему:

— Большое спасибо. В Лузадо нынче хороший урожай?

Потому ли, что быстрая езда отвлекла его от тревожных мыслей, или бубенцы напомнили о народных праздниках, о ярмарках и об услышанных там песнях, Анибал обо всем забывает — о горе и угрызениях совести, — и в душе его начинает звучать тоненький голосок: «В Лузадо, в Лузадо. Черт возьми, нам здорово повезло».

Спускается ночь, а они едут, разгоняя тишину звоном бубенцов и ударами вожжей, со свистом опускающихся у самых ушей мулов. Смышленные морды животных подняты кверху, подковы серебрятся в лунном свете, упряжка плывет сквозь летучие облака пыли, увозя искалеченного Портелу и его друга все дальше и дальше от мук и с каждым мгновением приближая их к Симадасу, к желанному, родному очагу.

На следующее утро, когда Анибал проснулся, жители деревни были заняты чисткой колодца. Босиком, в одних подштанниках он подбежал к окну и принялся разглядывать односельчан через стекло, узнавая то одного, то другого. И вот он увидел — кого бы вы думали? — Флорипес, младшую Соту.

— Ола! — радостно вскрикнул он, словно приветствуя ее потихоньку от всех.

Немного левее колодца возвышался облепленный тинной остов вытащенного из воды старого сруба; в куче мусора копошились куры, дети бегали наперегонки, торговец растительным маслом высказывал свое мнение или, вернее, полагал, что высказывает. Он суетился около нового ворота — его уже собирались ставить, — а чуть подальше сверкало на солнце новое ведро. Старик смотрел на все это радостно и удивленно.

— Дядюшка Анибал, — позвал его Жоан Портела, приподнимаясь на соломенном тюфяке, где прежде спал Абилио. — Будьте добры, подайте мне костыль!

Жозе Кардозо Пирес
ГОСТЬ ИОВА

Художник *А. Зефиров*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технический редактор *С. Степанян*
Корректор *К. Иванова*

Сдано в производство 21/V 1971 г.

Подписано к печати 14/IX 1971 г.

Бумага 84×108/4, бум. л. 2 1/4,

печ. л. 7,56

Уч.-изд. л. 7,15 Изд. № 2930/72

Цена 36 коп. Зак. 2181

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров
СССР

Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валуевская, 28

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ:

КЛАВЕЛЬ, Бернар. Плоды зимы.

Р о м а н.

Перевод с французского.

Роман «Плоды зимы» — четвертая книга тетралогии Клавеля «Великое терпение», удостоенная Гонкуровской премии.

Действие романа происходит в годы фашистской оккупации. Жюльен Дюбуа, участник движения Сопротивления, вынужден скрываться от властей. Его брат Поль — коллаборационист. С большим мастерством описывает Клавель медленную гибель семьи Дюбуа, пропасть, лежащую между отцом и сыновьями. Большая удача писателя — психологически убедительные образы стяжателя Поля, старика Дюбуа, в котором соединились черты собственника и труженика, и матери, исполненной бесконечного терпения и мягкости.

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ:

**МАРКЕС, Габриэль Гарсиа. Палая листва.
Полковнику никто не пишет.**

Серия «Современная зарубежная повесть».

Перевод с испанского.

Габриэль Гарсиа Маркес — один из выдающихся современных писателей Латинской Америки. Основная тема его творчества — жизнь колумбийской провинции.

Герой одной повести — старый полковник, который доживает свой век в маленьком городке, ожидая пенсии за участие в государственном перевороте, совершенном 20 лет назад.

В другой повести Маркеса — «Палая листва» — рассказывается о постепенном угасании в затхлой провинциальной атмосфере незаурядного дарования опытного врача, которого отвергло местное «общество».

Сюжеты книг Маркеса довольно просты, однако благодаря таланту писателя — недаром критики сравнивают его с У. Фолкнером — перед читателем разворачивается яркая картина нравов провинциальной Колумбии.

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ:

СЕБЕРГ, Петер. Пастыри.

Повесть. Серия «Современная зарубежная повесть».

Перевод с датского.

Повесть «Пастыри» интересна глубиной поставленных в ней моральных, социальных и психологических проблем. Остро драматический сюжет держит читателя в напряжении с начала и до конца повествования. ...Автомобильная катастрофа вовлекает близких пострадавшего в стремительный водоворот поступков, мыслей и чувств, проявляет характеры, проясняет отношения. Характеры очерчены точно, рельефно. Это и сам главный герой Лео Грей, его жена Виола, его сын — бунтарь-нигилист, друг семьи врач Роза и др.

В повести «Пастыри» автор показывает жизнь современной Дании изнутри, пытаюсь объяснить, почему простой человек Запада чувствует себя во враждебном ему буржуазном обществе лишним.

